Н. КОСТОМАРОВ

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

ВВЕДЕНИЕ

У всех европейских народов видна любовь к народности и уважение к народной поэзии. Везде собирали народные песни, объясняли их, подражали им; везде народность — и в науке, и в словесности — нашла себе представителей. Английские поэты Вальтер Скотт [1] и Томас Мур [2] черпали из народных песен вдохновение для своих поэтических созданий. Всеобъемлющая лира Гете [3] в лучших своих песнопениях настраивалась под лад старонемецких «лидов»; баллады Уландовы так близки к своему источнику, что заменяют для народа прежние, его собственные произведения. Множество важных трудов посвящено изучению, разработке и изданию народности. Собрания старинных английских поэтических произведений, изданные Перси [5], много доказали, как важны песни народные для истории и литературы. Четырехтомная «История английской поэзии» Вартона [6] служит примером того, как люди ученые ценят народное достояние. Не менее важны труды Эллесса, Рейтсона и других. «Древние баллады» Джемсона и народные песни «бордеров» [8] Вальтера Скотта можно поставить примерами отличнейших сборников. В последнем сочинении превосходно рассмотрена история бордеров с применением к народным остаткам и показаны суеверия народные, наводящие притом на яснейшие точки воззрения относительно поверий и мифологии европейских народов. В Германии замечательны труды Герреса [9], Брентано [10], Ерлаха, которого сборник не окончен и, к сожалению, загроможден чуждыми прививками. Новое издание немецких песен с нотами для пения подтверждает то всеобщее внимание, какое оказывают к народной поэзии германцы. Не ограничиваясь разработкою отечественных материалов, они занимались и поэзиею других народов: так Гримм [11], Бюшинг [12] и Вольф [13] познакомили немецкую публику с народными произведениями скандинавских, славянских и романских племен. Пред всеми народами немцы могут похвалиться своим бессмертным Гердером , который нанес решительный удар прежним мнениям и водрузил на не-**/45/**зыблемом основании знамя народности. Не лишним считаю упомянуть о сочинении г[оспо]жи Тальви [15], написавшей «Опыт характеристики народных песен». Французы, сбросившие позже иго классицизма, долго упорствовали в ложных и уродливых понятиях о романтизме; но и они могут представить из числа своих ученых таких, которые оказали услуги народности: Фориель [16], собиратель греческих песен, Ампер [17], Мармье [18], Генрих Блаз, Шарль Нодье [19] и другие. Испанцы еще в XVI веке имели собрание своих народностей. В Швейцарии, Швеции и Дании ученые также занимались этим предметом. Песни славянских народов были издаваемы несколько раз, но богатство материалов столь велико, что еще слишком много нужно труда, дабы достичь того, что имеют германские народы. У сербов есть прекрасный сборник песен Вука Стефановича [20], словаки имеют Коллара [21], поляки — Войцицкого [22], Жеготу Паули [23] и других; песни южнорусские собирали Вацлав из блеска [24], Жегота Паули, Максимович [25], Срезневский [26], издавший богатый запас исторической поэзии с учеными объяснениями, и другие. Великорусских песенников Сахаров [27] насчитал 120, но преимущественно важны для нас труды этого почтенного собирателя.

Таким образом, почти везде занимались народностью. Что же было причиною любви к прежде брошенным и долго презираемым произведениям поэзии, которую еще и теперь иные честят именем мужицкой и базарной?

Я полагаю тому три причины: первая есть литературная — следствие упадка классицизма: враждующие стороны классицизма и романтизма примирились на идее народности. Вторая, политическая, произошла из отношений правительств к народам. Третья — историко-ссиенцифическая [28].

До сих пор все способы, какими выражали историю, могут быть подведены под два главные вида: повествовательный и прагматический [29]. Но эти способы как ни противоположны казались у некоторых писателей, ничуть не противны один другому и оба необходимы в каждом историческом сочинении. Повествование без участия размышления не может назваться историею, потому что в нем не будет достигнута та цель, которой требует наука, именно — истина; та самая цель, которая необходима для каждого повествователя о чем бы то ни было — верность в рассказе. Два, например, события случилось в различных веках у различных народов. Как бы ни было похоже одно на другое, но если они будут изображены совершенно безразлично, то ни в том, ни в другом не будет истины: в мире нет двух существ совершенно похожих, в каждом есть что-нибудь свое собственное. Поэтому, повествуя о событии или описывая историческое лицо, историк должен **/46/** передать изображение своего предмета так, чтоб читатель мог отличить его от других: без того историка читатель не поймет. Следовательно, описывая, историк вместе с тем должен и размышлять, хотя бы он скрыл свое размышление. С другой стороны, еще менее возможно чисто размышлительное (прагматическое) направление при небрежности повествования и описательности. Для человеческого мышления нужен предмет; чтоб человек судил правильно, этот предмет должен представиться ему ясно и ощутительно. Следовательно, исторический прагматизм возможен только при отделке повествования, а иначе все будет ошибочно и ограничится пустейшим мечтанием. Два эти способа не только не заключают в себе противоречия, но единственно и возможны один при другом. Главное в истории верность.

Но изобразить событие так, как оно было, не легко: историк должен постигнуть, в чем состоит характеристика его. Следовательно, занимаясь наукою, историк должен изучать все то, что в мире человеческом кладет на разумное существо печать различия, то есть место и время, народ и век. Обыкновенно в таком случае мы привыкли указывать на так называемые исторические источники, то есть сочинения известных лиц, которые писали о событиях. Но только что историк раскроет сказания о прошедших веках, как увидит несообразности, противоречия, пристрастие, видимую ложь. Что делать? Как найти точку, с которой обсудить источник? Это, например, не так; почему оно не так? Надобно знать обстоятельства, дух века, народ, общий характер. Положим, что исторический источник чрезвычайно достоверен. При всей его достоверности и точности, историк может набрать из него кучу событий, а сам останется в недоумении. Историк может составить компиляцию с летописца, а если захочет оживить ее, не имея других пособий, то будет изображать события народа на свой манер. Так действительно и случилось с нашею историею. Летописи наши отличаются точностью; мы имеем несомненные доказательства их достоверности, но когда читаем пространные повествования о наших уделах, события представляются нам неясно, в таких общих эскизах, все так маловажно, — и мы вправе только судить о характере летописца, а события остаются для нас темными. Вот почему Карамзин [30], при всем своем таланте, ошибался и смотрел на события прошедших веков с точки зрения, приличной своему времени. Притом же как у нас, так и у иностранцев, многие летописцы были люди, не жившие в обществе, монахи, и потому не могли выйти из круга мышления, предписываемого их званием. Другие, напротив, писали с целью удовлетворить любопытству современников и распространялись над такими предметами, **/47/** которые тогда возбуждали всеобщий интерес, а теперь для нас иногда важнее было бы знать то, что прежде считалось слишком обыкновенным. Все такие недостатки

исторических материалов заставляют историка искать других источников, которые бы сделали для него живее и вразумительнее темное и неопределенное.

Всякий народ имеет в себе что-то определенное, касающееся более или менее каждого из тех лиц, которые принадлежат народу. Это народный характер, по которому целая масса может быть рассматриваема, как один человек. Всякое индивидуальное лицо имеет свой характер: этот характер постигается в его действиях, приемах, но преимущественно в таких случаях, когда он выказывается невольно, не стараясь быть замеченным, испытанным, узнанным. Так, напр., если кто хочет изучить и узнать человека, должно следить за ним в те минуты, когда он действует, не думая, как ему выступить, каким показаться, когда он вовсе не замечает, что за ним присматривают: в противном случае он старается показаться таким, каким ему быть хочется, ибо у всякого человека есть свой идеал, всякий из нас более или менее внутренно недоволен самим собою и хочет быть лучшим, чем он есть в самом деле. Это общее качество человеческого существа применительно к целому народу. Всякий народ, рассматриваемый как единое лицо, имеет свой идеал, к которому стремится. Оттого, напр., историк, описывая деяния своего народа, старается те черты, которым сильно сочувствует, изображать в благоприятном свете. Для узнания народного характера надобно поступать так, как с человеком, которого желают изучить: надобно искать таких источников, в которых бы народ высказывал себя бессознательно. К таким источникам принадлежит литература. Здесь опять мы сравним целое общество с одним лицом. Несмотря на то, что человек по врожденной склонности надевает на себя маску, истинная природа прорывается сквозь притворство и ничто не в силах совсем закрыть ее. Таким образом, и мысль, что всякая литература есть выражение общества, совершенно справедлива. Положим, что в литературе нет самобытных произведений, все подражательное, все чужое, — это значит, что общество, выражаемое литературою, не сочувствует своей народности, живет чужим; но всегда, как бы ни была литература вяла, притворна, суха, как бы ни мало представляла она для народного характера, — она будет выражением только известного класса народа, одной, может быть, самомалейшей части его, — между тем как все остальные части имеют литературу свою, непритворную, свежую. Поэзия есть принадлежность человека, без нее он не может дышать; минуты, в которые человек находится в поэтическом настройстве, **/48/** суть те минуты, когда он возвышается над повседневною сферою бытия и выказывается невольно, неосмотрительно. Истинная поэзия не допускает лжи и притворства, минуты поэзии — минуты творчества; народ испытывает их и оставляет памятники — он поет, его песни, произведения его чувства, не лгут; они рождаются и образуются тогда, когда народ не носит маски. Он сам сознает это: «Die Sache lebt im Gesang» *, — говорит немец; песня — был ь, — скажет русский. В самом деле, народная песня имеет преимущество пред всеми сочинениями; песня выражает чувства не выученные, движения души не притворные, понятия не занятые. Народ в ней является таким, каков есть: песня — истина. Есть другое столь же важное достоинство народной песни: ее всеобщность. Никто не скажет, когда и кто сочинил такую-то песню, она вылилась целою массою; всякий, кто ее поет, как будто считает за собственное произведение; нигде не является народ таким единым лицом, как в этих звуках души своей, следовательно, ни в чем так не выказывает своего характера.

Вообще в значении важности для дееписателя песни могут быть рассматриваемы в следующих отношениях:

1. Как летописи событий, источники для внешней истории, по которым историк будет узнавать и объяснять происшествия минувших времен. В этом отношении достоинство песен еще не так велико: во-первых, потому, что сюда принадлежат только так называемые исторические песни; во-вторых, потому, что цветы фантазии часто закрывают истину, что мы покажем впоследствии.

2. Как изображение народного быта, источники для внутренней истории, по которым историк мог бы судить об устройстве общественном, о семейном быте, нравах, обычаях и

т. п. В этом отношении песни имеют уже большее достоинство, но представляют также большие недостатки, именно потому, что те черты, которых будет искать историк, являются часто неясно, отрывочно и требуют дополнений и критики.

3. Как предмет филологического исследования. В этом отношении песни для историка — драгоценность, но значение их здесь частно и касается преимущественно истории развития языка, а не вообще народа.

4. Как памятники воззрения народа самого на себя и на все окружающее. Это самое важнейшее и непреложное достоинство песен. Здесь не нужно даже никакой критики, лишь бы песня была народного произведения. Жизнь со всеми ее явлениями истекает из внутреннего самовоззрения человеческого существа. На этом основывается то, что мы называем характером: особенный взгляд на вещи, который имеет как всякий человек, так и всякий народ.

* Справа живе в піснях (нім.). — *Ред.* **/49/**

Признавая последнее значение народной песни для историка самым важнейшим, мы будем с этой точки зрения рассматривать песни русского народа, то есть, как народ высказал в своих произведениях свою собственную жизнь, которую разделим на три вида: духовную, историческую и общественную. Под первою будем разуметь взгляд народа на отношения человека к высшему существу и природе; под второю — взгляд народа на прошедшую свою политическую жизнь, здесь заключается народная история; под третьего — взгляд народа как на прошедшую, так и настоящую свою жизнь, рассматриваемую in statu quo *, взятую как бы в один момент его существования: это картина жизни, внутренняя история, передаваемая изустно самим народом.

Так как русская народность, вопреки ошибочным взглядам некоторых этнографов, всегда разделялась на две половины: южнорусскую и севернорусскую, или как обыкновенно называют — малорусскую и великорусскую, то при обозрении народной русской поэзии мы будем принимать во внимание произведения и той и другой народности.

* Без змін, постійне (лат.). — *Ред.*

ГЛАВА I

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

I. Религия

Христианская религия имеет отличительным свойством то, что она соединяет союзом единства народы, испбведующие оную. Но тем не менее однако не найдется двух народов, у которых бы религия была принимаема к сердцу совершенно одинаково, без малейшего развития, как бы ни были они близки между собою по условиям характера и жизни. Исторические события, действующие на народ, уже достаточны, чтобы положить на него особенный отпечаток во взгляде на отношения к высочайшему существу и нравственные понятия. Ежели один народ жил долгое время в беспрерывном стремлении поддержать свое национальное достоинство пред другими, расширить пределы своего отечества, подчинить своей власти соседей, а другой, напротив, ограничивал политическую деятельность защищением своей независимости, был занят сохранением своей национальности; то невозможно, чтоб у них были одинаковые религиозные понятия. Таким образом, у всякого народа есть свои оттенки в религии. Я не разумею здесь ни религиозных систем, ни догматов и тому подобного, а тот особенный взгляд, который народ имеет на свою религию, так называемую народную религиозность, не составляющую ни вероисповедания, ни секты. Эта религиозность есть одно из важнейших условий народного характера, и потому поэзия народная служит источником к узнанию оной.

К сожалению, рассмотреть вполне религиозность русского народа, как она является в народных песнях, здесь не могу, потому что не имею ничего в этом роде из великорусской поэзии, а потому решаюсь ограничиться одною малорусскою.

Религиозность в малорусской поэзии проявляется двумя способами: в песнях, посвященных религиозным предметам, и в таких поэтических произведениях, где религиозные понятия и чувства выказываются посредственно, то есть входя в отправления общественной и семейной жизни.

Духовные народные сочинения могут быть разделены на эпические — легенды и лирические — вирши и нравственные думы. **/51/**

Характер легенд — детская простота, фантастичность и живое чувство. Предметом их бывают события из жизни Спасителя и святых. Священные события рождества Иисуса Христа занимают первое место не только у малорусов, но и у других народов. Причина этому очевидна: она заключается в семейственности и сельскости, какими отличается характер самого евангельского повествования. В Малороссии на праздник рождества Христова поются особенные песни, называемые колядками, в числе которых есть некоторые религиозного содержания, описывающие празднуемое событие. Описания эти отличаются произвольными отступлениями и украшены вымыслами, которые однако не вредят истинному понятию и должны быть рассматриваемы как следствия участия народного чувства и воображения. Вот для примера одна колядка религиозного содержания:

А в Римі, Римі, в Єрусалимі,
Радуйся, радуйся, земле! Син нам ся

Божий народився.
Божая мати в полозі лежить,
В полозі лежить, синойка родить:
Сина вродила, в морі скупала,
В морі скупала, в ризі повила,
В ризі повила, до сну вложила.
Зійшлося к їй сорок ангелів,
Сорок ангелів, дванайцять попів!
Взяли синойка на Ардань ріку,
На Ардань ріку, го охрестили;
Стали они там книги читати,
Книги читати, ім'я гледати,
Ім'я гледати сина Божого,
Сина Божого і найвищого!
Ім'януймо го то святим Петром!
Божая мати то не злюбила,
То не злюбила й не дозволила.
Ім'януймо го та святим Павлом!
Божая мати то не злюбила,
То не злюбила й не дозволила.
Ім'януймо го паном небесним!
Божая мати то ізлюбила,
То ізлюбила і дозволила.
І дозволила, й благословила!
(Коляд., собр. Берец., сообщ. Срезн.) *

* Всі авторські скорочення подаються наприкінці праці. — *Ред.*

Деяния Иисуса Христа во время земной его жизни, равным образом притчи и поучения евангельские, также вошли в народную поэзию в виде рассказов, передаваемых с нравственной целью. Вот как, например, слепцы рассказывают притчу о Лазаре и богатом: **/52/**

«Як був собі Лазарь, нищий, убогий, хворий, недужий, лежав у гної перед багачевими воротами. Вийшов багач в сад за ворота, за ним вийшла челядь, препишна рота. Скоро багач із Лазарем зрівняв, а Лазарь до його гласом оддав: «Ой же, мій брате, сильний багачу, создай мені хліба й солі, Господь тобі з небес сам награждав, за ним твоїй душі й тілу на віщо треба». А багач на теє немало й не дбав и противнее слово брату одказав: «А вже бо ти, Лазаре, лежиш во гної та ще й смердиш, як вбитий пес; не називайся братом моїм; я маю братію як єдин сам, і маю я стожки-обворожки, а червоні все знатні полурожки, а дрібну монету — срібні денежки. Не боюсь я й пана-Бога, за все хлопочусь я, а де не принада мені, денежками оплачуся. Од наглої смерті одкуплюсь, до царства небесного приближусь, а не приближусь, так прикуплюсь». Та плюнувши на Лазаря, сам пріч і пішов та велів за собою ворота замкнути, перед своїм братом, перед Лазарем. Малеє время — час погодивши, став убогий Лазарь Богу молиться і молитви творить: «Господи, Господи, Спас милостивий мій! Прийми душу й тіло у царствіє твоє!» А вислухав Господь-Бог молитву його і заслав із небес святих анголів, по Лазаря, по душу його. І зхлинули анголи з неба низенько, взяли душу й тіло легенько і понесли Лазаря у рай небесний, посадили його в пресвітлім раю, в Господа небесного в честі та хвалі. А в другую хвилю — злую годину не дійшов багач до свого двору, — перестріла багача сильна хвороба за його неправії, противні слова, що одрікся брата Лазаря, а не брата

Лазаря, — самого Христа! Скоро багач з Лазарем зрівняв, а багач до його гласом заволав: «Лазаре, мій брате , святий Лазаре, єдин отець — мати нас родила, да тільки не єдину Бог долю нам дав. Тобі, брате Лазаре, нижнєє убожество, а мені сильне багатство Бог дав; лучче твоє нижнєє убожество, аніж моє сильнее багатство; бо ти пробуваєш в пресвітлім раю, у Господа небесного в честі та хвалі, а я, брате, горюю в пекельнім огні. Чи міг би ти, брате Лазаре, сеє вчинити, персти свої в морі вмочити, язик мій у роті охолодити, пекельний огонь угасити». — «Не моя, брате, воля — самого Бога». «Спроси ж ти, брате, за мене Бога своїми постами і молитвами, а третіми спасенними милостинями! А чи не пустить мене Бог на той світ на будущий вік, бо я маю на тім світі живих п’ять братів: нехай між ними хоть пророкував, од Господа небесного пророчество мав». Отак йому святий Оврам одповідав: «Не потреба з небес живих пророків: мають вони пророчество — святеє письмо; нехай вони письмо завжди читають і своїх учителей нехай навчають; которі будуть добре справовать, то буде їм царство, де й Лазареві, а котрі злеє будуть починать, буде пекло, як багачеві. Аминь, так нам, Боже, й дай. Пішла віра християнська уся в пресвітлий рай».

Страданию и воскресению Иисуса Христа посвящено также несколько религиозных легенд, из которых некоторые видно, что сочинены людьми духовного звания, но усвоены народом, а на других лежит отпечаток чисто народной лирики. Вот, напр., что поют слепцы в великую пятницу:

В четвер з вечора жиди
совіт сотворили:
Не маємо царя іного,
Кроме кесаря чужого!
Се бо закон оставуєм:
Царем Христа ім’януєм!
Стали жидове гадати,
Як би нам його піймати.
До їх Іуда притече,
А притекши жидам рече:
«Що мені дасте, продам його,
Бо я єсть ученик його?» **/53/**
Мовлять жиди: «Гроші дамо,
Коли нам продаш його».
Вже Іуда розглядався,
Що у серці поспішився;
Продав Христа, одцурався,
А сам царствія зостався.
Вже Іуда побіг з дому,
Би то не був у чужому.
Спізнав Христа в його муці;
Мовить: «Люблю тебе, пане».
Христос хліб — тіло дає,
Своїм ученикам подає,
Уломивши, Іуді дав:
«Сей от вас мене продав!»
Рече Христос до Іоанна,
До свого друга-наперсника:
«Малії діти научайте,
Моє странствіє описуйте;
Прискорбна душа моя до смерті,
Приходить час уже умерти!

Приспів кінець — безсмертний час;
Зоставайтесь, дітки, — я йду од вас!»

В собрании колядок Берецкого воспевается таким образом воскресение Спасителя:

З-за тамтой гори, з-за високої
Виходить нам там золотий криж.
Славен си, славен си!
Наш милий Боже!
На високості,
В своїй славності
Славен си!
А під тим хрестом сам милий Госпід;
На йому сорочка та джунджовая (жемчужная),
Та джунджовая, барз кервавая...
Ой ішло дівча в Дунай по воду.
Та й вно виділо, та же руський Бог, —
Та же руський Бог із мертвих устав...

Здесь «дівча», вероятно, значит Марию Магдалину [31], первую свидетельницу воскресения Христова. В основе рассказа лежит отпечаток истины, но народное воображение украсило ее по-своему.

Матерь Божья в народных религиозных песнях есть предмет умилительного поклонения и нежной любви. Пресвятая Дева изображается заступницей несчастных и спасительницей грешных. В одной щедривке рассказывается, как Божья Матерь просит у своего божественного сына выпустить из «пекла» грешные души; в колядках карпатских есть рассказ, как шла Божья Матерь полем и встретила земледельца, сею-**/54/**щего пшеницу. «Помагай-біг, убогий сідлячку!» — сказала йому Пречистая:

Будуть ту іти жиди й жидівки,
Жиди й жидівки, й жидівські дівки:
Повідай же ти, же я тади йшла,
Коли ти ту орав — пшеничейку сіяв...

В самом деле, только что скрылась Святая Дева за гору, как явились «Жиди й жидівки, й жидівські дівки», но увидели, что «сідлячок» жнет свою пшеницу. «Кто такая эта «білоголова»? — спрашивают у него. — Не шла ли она мимо тебя?» — «Шла, — отвечает мужик, — тогда шла,

Коли я ту орав — пшеничейку сіяв,
А тепер уже я пшеничейку зажав».

Чудно стало жидам. Никак не могли они понять:

Коли ж то було: коли він ту орав,
А тепер овін пшеничейку зажав.
(Коляд., собр. Берец.)

Легенды из жизни апостолов и других святых — по большей части нравоучительные примеры и похожи на притчу о Лазаре и богатом, которую мы привели выше. Что касается до гимнов или духовных лирических песен, то это, так сказать, религиозно-философские думы, показывающие в народе малорусском наклонность к созерцанию и

размышлению. Содержанием их бывают или жалобы на мир с обращением к Богу о подкреплении в горестях, как, напр., превосходная песня Сковороды [32], усвоенная народом: «Чи я кому виноват» и проч., или раскаяние в грехах, как напр., следующая песня:

Та прожив я свій вік не так, як чоловік!
Що люди живуть, як цвіти цвітуть:
Моя голова, як яла трава!
Не піду у мир, піду в монастир,
Щоб душу спасти, щоб Господь простив.
І душу спасу і кості ссушу.
Недвижно лежать, — страшно суда ждать.
Страшний суд прийде, всім розбор знайде:
Праведним душам увесь світлий рай,
А грішним душам вічноє пекло.
Що праведні душі звеселилися,
У рай ідучи, псалми поючи;
А грішні душі ужахнулися,
У пекло ідучи, сильно плачучи,
Отця й неньку клянучи:
«Проклятий час — тая година,
Що нас отець-мати на світ породила,
На добрий путь не навчила».

Иногда в подобных лирических песнях заключаются правила жизни и советы для души: **/55/**

Не вповай, душе, сама на себе!
А вповай, душе, все на Господа,
І на Господа й на матір його,
Пресвятую Діву Богородицю,
І на всіх його небесних сил!
Хто поіще Бога, той буде з ним,
Ізбавлен буде вічної муки.

Говоря о памятниках народной духовной поэзии, нельзя не упомянуть о таких произведениях, которых содержание взято из народной жизни и применено к христианским идеям. Так, напр., в одной думе рассказывается, что один удалец, долго «козакувавши», пришел наконец в горькое состояние бурлачества, роптал на Бога и впадал в отчаяние. Наконец, он решается удалиться от света и предаться молитве. Но земные желания долго не покидали его: он все жалел о судьбе своей и среди самой молитвы прорывался в нем ропот. Святой Николай Чудотворец [33] является к отшельнику. «Чего хочешь — проси, — то Бог и даст тебе». Казак отвечает:

Я свої літа проводжу,
І нічого не заживу;
Нема щастя, ані долі,
Ні худоби, ані волі.

«Молись кріпше, чоловіче», — сказал ему чудотворец и удалился. Прошло еще несколько времени, казак продолжает бороться с грешными помышлениями, но молитва

его час от часу становится усерднее и горячее, и вот опять является чудотворец: «Чего хочешь, то и дасть тебе теперь Бог: хочешь ли счастья, богатства...». Казак отвечает:

Не хочу я щастя-долі,
Ні худоби, ані волі,
Ні багатства времінного,
Хочу багатства вічного.

Есть еще нравственные думы, в которых показываются отношения детей к родителям, братьев, супругов, друзей и т. п.; об них мы упомянем в своем месте.

Рассматривая проявление религиозности в прочих произведениях народной поэзии, мы без дальних разысканий можем определить главную идею, проникающую духовное существо малоруса. Эта идея есть безусловная преданность воле Божьей. Вера для малоруса — предмет неприкосновенный: он не смел поверять ее рассудком, страшился отклониться от нее на шаг. Причина всего, что он видит, что с ним случается, есть Бог. «Він знає, що починає; Бог те знає, а не ми, грішні», — вот выражения, какие передала нам народная поэзия, какие и теперь всегда на устах малоруса. Когда Украина страдала от притеснений «ляха-католика», народ со смирением искал причины своих бедствий в неисповедимых судьбах божьих: **/56/**

Тільки Бог святий знав, що він думав-гадав,
Як на українську землю недолю посилав.

И теперь бедный бурлак-горемыка с таким же смирением переносит свое горе:

Така, Боже, твоя воля,
Що нещасна моя доля!

Малорус верит, что все делается только с Божьей помощью: «Як Бог не схоче, — говорит пословица, — то хоч би десять голів мав, то нічого не зробиш». Ропот есть величайший грех: в несчастье нет ничего дурного, если оно посылается Богом: «Що Бог дасть, то не напасть; Бог покорить, Бог і простить», потому что «кого Бог сотворить, того не уморить». Притом несчастье по народному понятию есть следствие грехов наших: «За що, — говорится в одной думе, — став нас Господь видимо карати: хліба-солі збавляти? За те, що не стали ми Бога почитати, отця-неньки шанувати, ближніх сусідів стали безневинно зобижати, — тим у нас і порядку не стало доставати». С такими понятиями малорус равнодушно переносит горести и бедствия земной жизни. Без беды не обойдешься: «Біда чоловіка найде, хоч сонце зайде, біда не спить»; привидением ходит она «по людях» и не выгнать незваную гостью, если она зайдет к кому: «Біди ні продати, ні проміняти, і грім біди не б’є». Одна только надежда, одна отрада для страдальца в вере. Страдая, он молится; молясь, надеется: надеясь, верит. Снедает ли влюбленное сердце убивающая тоска — к кому обратиться, как не к нему, справедливому:

Чи то, Боже, твоя воля, що я нещаслива?
Що ж я тому винна, що я вродилася?
Чи м’я небо покарало, що я любилася?
(Вац. из Ол., стр. 336)

Лишилась ли девушка милого, ужасно бедному сердцу... но ропот грех... так, видно, угодно Богу; и в простоте души она хочет засветить свечу и послать «до Бога», чтоб ее милому была «щасливая дорога» на тот свет, а между тем обращается к Богу с молитвою об успокоении:

Ой змилуйся, моцний Боже, тепер над мною:
Най я більше не журюся, не нужу собою!
(Вац. из Ол., стр 338)

Гонят ли несчастного сироту злые люди; он молится: «Боже милосердный! Единая отрада! — восклицает он, — да будет воля твоя, но покажи врагам моим, что я живу под крылами твоей благодати!» Горе посылается для очищения души и укрепления сердца: «Нема муки без науки»; но Бог — заступник и спаситель страждущих: он хоть «нескорий, але лучен», **/57/** он «старий господар: має більш, ніж роздасть»; он «з калитою за сиротою»; он не отказывает просящему: «Хто в Бога просить, тому Бог дає»; людская сила того не остановит: «Кому Бог поможе, той все переможе». Не должен только человек забывать Бога в счастье: горе тому, «хто коли тривога, то до Бога, а по тривозі й забуде о Бозі. У кого Бога нема в голові, од того і Бог одступиться». Таковы понятия южноруса об отношениях человека к Богу; грех, величайший грех надеяться на самого себя без призвания Божьей благодати:

Не вповай, душе, сама на себе,
А вповай, душе, все на Господа!

ГЛАВА II

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

II. Природа

Человек, живя на земле, имеет самую тесную связь с физическим миром, к которому принадлежит половиною своего двойственного бытия. Оттого существование каждого народа условливается местностью и качествами окружающей его природы. Оттого в песнях народных видна природа тех стран, где народ жил; из них можно узнать, в какой степени он был в связи с природой и какие формы принимало человеческое сочувствие к природе. И север, и юг, и вершины гор, и зыби морей, и все произведения разнообразных климатов рисуются в народных песнях. Песни финна переносят нас в низенькие избы, закиданные сугробами; при свете очага собирается веселая семья рассказывать и петь; на дворе свищет буря, вьется вьюга, вдали воют голодные волки, а между тем в скромном и теплом уголке вы слышите о чудесах заморских стран, о подвигах старых героев. Шотландец поет о своих ясных озерах, о пропастях и водопадах, о диких ланях, жителях грампианских рощ [34], об унылом плеске морских волн на утесистые берега. Грека вы увидите сидящего под оливою, на закате южного солнца, в кругу доброго семейства: в воображении его славный в подлунной Олимп [35], струящий шестьдесят два ключа, спорит

с Киссавом, оставляя противника лежать во прахе; с неимоверною легкостью бросается юноша на хребет моря, раскидывает могучие руки, как весла, грудь его становится кормилом; в челн обращается легкое тело. Думы украинские заносят наше воображение «на степи ординські, шляхи киліянські»; на необозримые равнины, выжженные пожарами; взор ваш манит беспредельность, раздолье; дыхание расширяется от свободного ветра пустыни. Печальные могилы — остатки неизвестной старины, темные леса, далекие степи, быстрые воды. Днепр широкий, буйный ветер, «яри глибокі, байраки зелені, смутная чайка», вещая «зозуля, сизокрилі орли», кречеты, летящие в тумане, который пал на долину и разостлался «по степу-полю» — вот образы, сопровождающие степную жизнь казака. Песни семейные окружают вас **/59/** другими картинами: «вишневий садок», цветущая «яблуня, ставок і млинок, лугові верби, червона калина, зеленая царина», над которой вьются ласточки, «рум'яна рожа в огороді», очаровательный блеск «місяця-перекроя», песни соловья, отряхивающего раннюю росу с кустарников.

Но одними только изображениями не ограничивается все понятие народа о природе. Предметы природы, часто встречаемые, не интересуют народного воображения потому только, что глаз беспрестанно видит их. Надобно, чтоб они существовали в полном смысле этого слова, народ ищет в них жизни, а не призраков, хочет с ними сообщаться не только телесно, но и духовно. Физическая природа проникнута творческою идеею, согрета божественною любовью, облечена в формы совершенства. Каждое явление в ней не случайно, но имеет свой закон, открываемый духом. В природе заключается для человека значение, применительное к его собственному существу; человек видит в окружающих его предметах не одну грубую безжизненную материю, напротив, как бы ни удалено казалось от его существа какое-нибудь произведение родной планеты, — в человеке есть тайное око, которое видит, что и грубая материя имеет связь с духовным существом; есть тайный голос, который указывает, в чем состоит эта связь. Вот это сознание духовного в телесном и составляет основу всего прекрасного в искусстве. Оно есть признак гармонии и любви, существующей между творцом и его творениями. Человек способен любить только дух; телесное само по себе недоступно его сердцу.

На этом-то свойстве человеческой природы народ — мало того, что вносит в свои произведения образы физической природы, — он оживляет ее, природа получает в его глазах разумное бытие. Таким образом предмет телесный, входя в произведения народной поэзии, получает в ней духовное значение, которое является в форме применения к быту нравственного существа: это называется в обширном смысле символом. Понятие о символе не должно смешивать ни с образом, ни с аллегориею, ни с сравнением: все это формы, в которых выказывается символ. Всякое поэтическое сравнение необходимо должно опираться на символ, иначе будет только игрою слов, обманчивым видением и пролетит мимо нас бесплодно, не западая ни на минуту в сердце. Если поэт сравнивает красавицу с розою или удальца с соколом, не вправе ли мы спросить его: на чем основывает он сближение существ, столь разнородных? Есть, следовательно, тайная связь между ними: одна и та же идея проявляется и в мире человеческом, и в мире природы. Если народ имеет определенное понятие о духовном значении какого-нибудь предмета физического мира, то это значит, что такой предмет заключает символ для народа. **/60/**

Народные символы, расположенные в системе, составляют символику народа, которая служит нам важным источником для уразумения его духовной жизни. В общем смысле символика природы есть продолжение естественной религии: творец открывается в творении; сердце человека любит в явлениях мира физического вездесущий дух. Следовательно, такая любовь к природе составляет единство с любовью к творцу, а так как дух, открывая свои идеи в природе, те же самые идеи поставляет в основание отправлений нравственно-духовной природы человека, то любовь к природе составляет также единство с любовью к человеку, — или, лучше сказать, отношения человека к природе занимают средину между отношениями к творцу и к самому себе, между любовью божественною и человеческою, между жизнью созерцательною и практическою.

Все это открывается в символике, которая имеет чрезвычайную важность для этнографии и истории. Взгляд народа на природу показывает вместе с религиею, что такое народ, какое человеческое бытие он заключает в себе, а это ведет к уразумению дальнейших исторических вопросов — почему народ действовал так, а не иначе.

Символика русского народа имеет три рода оснований, которые открываются в народной поэзии, а именно: 1) некоторые символы имеют свое основание прямо в природе и совершенно ясны; 2) другие символы основаны на историческом употреблении известного предмета в жизни предков народа; наконец 3) есть такие символы, которые основаны на старинных мифических или традиционных сказаниях и верованиях, составляющих достояние народного баснословия.

Русская символика чрезвычайно разнообразна, богата и касается предметов из всех отделов природы. Но вообще символы народной русской поэзии могут быть расположены в следующем порядке.

1. Символы светил небесных и стихий с их феноменами.
2. Символы местности.
3. Символы царства ископаемого.
4. Символы царства растительного.
5. Символы царства животного.

Ни объем моего сочинения, ни средства не позволяют мне изложить здесь вполне всю символику природы, выраженную в народной поэзии. Но чтобы сколько-нибудь показать, как является природа в народных русских песнях и какое значение принимают у народа предметы физического мира, я решаюсь привести здесь обработанную на основании народной поэзии символику царств растительного и животного, считая нужным заметить, что это самая важнейшая и обширнейшая часть. **/61/**

Символы царства растительного

Предметы царства растительного, упоминаемые в народной поэзии, суть: а) цветы и травы и б) деревья.

Относительно символики цветов и трав принимать должно во внимание: 1) впечатления, производимые на человека растениями, особенно цветом их: это имеет начало в законах соотношения физической природы с духовною; 2) различное употребление растений, которое может быть подведено под два вида: употребление в домашнем быту и употребление поэтическое — в играх, праздниках; 3) значение их фантастическое или традициональное, основанное на преданиях и поверьях. В символике деревьев я буду различать: 1) наружный вид их и впечатления на человека; 2) принадлежности и симптомы: местность произрастания, цвет, плод, шум и так далее и 3) традициональное их значение, которое у южнорусов является в определенной системе метаморфоз: песни доставляют нам для этого более или менее любопытные и цельные сказания, но из них ни одно не может быть объяснено совершенно. Надобно заметить, что не все такие предметы получают свою символику из всех трех показанных нами источников: иной символ имеет только традициональное значение, другой только естественное.

А. Цветы и травы

«Роза», по-мало[российски] «рожа» — символ красоты, ласки и веселости. Девушка, изображая матери свою красоту, говорит: «А я, мати, так хороша, як повная рожа». Мать ласкает дитя свое и называет «квіте мій ружевий». Парубок, уверяя дивчину, что на нее «дивитися гоже», обращается к ней с восклицанием: «Ой, ти, дівчино, червона роже!» Букет из роз — подарок милому:

Прийди, миленький, до мене:
Зов'ю тобі квітоньку
З ружевого цвітоньку.

Розовый цвет значит также и здоровье. Женщина, отданная замуж в далекую сторону, пускает по воде розовый букет. Мать увидела поблекший цветок на реке и заключает, что дочь, должно быть, больна.

Як приплила з рожі квітка
Та й стала крутиться;
Вийшла мата воду брати
Та й стала журиться: **/62/**

«Ой і де ж ти, моя доню,
Недужа лежала,
Що вже твоя з рожі квітка
На воді зов'яла».

В свадебных песнях упоминается о розах, которые рассыпают по дороге к церкви и разбрасывают под ногами танцующих:

Червонорусская

Ламліте роженьку,
Стеліте дороженьку,
Нашому молодому
До Божого дому.

Малорусская

Ламліте роженьку,
Стеліть дороженьку,
Щоб м'ягче ступати
На двір танцювати.

Имя «рожі» носит какое-то мифологическое существо женского пола, которое является в истории олицетворением Дуная: следы этой истории остались в веснянках. Все девушки собрались в хороводе, но Рожи нет: мать не пускает Рожу в хоровод, боится, чтоб Дунай не обольстил ее:

Усі дівочки в танку,
Тільки Рожі немає;
Мати Рожу чесала,
А, чешучи, навчала:
«Донько моя, Роженько!

Не становись край Дунаю!
Дунай зведе з ума:
За рученьку іздавне,
Золот перстень іздійме».

Не лишним считаю здесь заметить, что и в других песнях говорится о чесании волос именно там, где упоминается о роже, напр.:

Під рожою дівочка
Русу косу чесала.

Этот образ встречается и в песнях словацких:

Біла ружа преквітала:
Матка дцеру заплетала.
(Nar. sp. Kol., стр. 225).

«Рута» (Ruta graveolens) — символ девственности и строгости нравов. Дивчина говорит: «Посію я рутоньку, буду підливати», знаменуя тем решимость хранить свое девство, а выражение: «Потеряла віночок з зеленої рути» означает потерю девства. Рута в песнях носит эпитет зеленой и крутой, то есть строгой и упрямой, и часто употребляется в иносказательных образах, напр., девушка, робко вверяясь молодцу, говорит ему:

Пусти коня на отаву та в зелізнім путі:
Прошу тебе: хай не ходить по моєї руті! **/63/**
Бо на руті жовтий цвіт — сама зелененька:
Прошу тебе, не зрадь мене, бо я молоденька!

Напротив, девушка, которая хочет предаться любви, говорит, что ей досадно, зачем рута растет в огороде; что как рута крутая «берегами поре», так «за ворогами», которые подмечают за ее свиданиями, нельзя ей любиться с милым, и решается истребить суровую траву:

Ой піду ж я руті круті верхи позриваю;
Вороженьки спати ляжуть, я си погуляю.
(Вац. из Ол., стр. 381).

Парубкам очень не нравится рута, особенно когда «дівчина руту підливає», то есть когда не хочет любить никого:

Ой перестань, дівчинонько, рутку підливати;
Ой чей же я перестану тяженько вздихати.
(Вац. из Ол., стр. 389).

В свадебных песнях упоминается о «рутяном» веночке, который невеста должна снять навсегда; она припадает к ногам отца, просит:

Не дай же мене ти, мій батеньку, од себе:
Най же я сходжу з рути віночок ще в тебе.

А отец отвечает:

Не єдин — єсь, не два з рути віночки сходила;
Не раз — єсь, не два добрими людьми згордила.
(Жег. Паул., т. I, стр. 99).

Дружки утешают молодую — поют:

Чого, Мар'єчко, смутненька?
Твоя рутонька зелененька!

разумея чистоту ее до замужества. Брачное нарушение девства выражается чрез образ рассыпанной руты:

Розсипалася руточка з золотистого кубочка...

Означая девственность и одиночество, рута употребляется также атрибутом разлуки:

Нема мого миленького, нема його тута:
Посходила по слідонькам шевлія та рута.

Любовь половая как будто не терпит руты; напротив, любовь родственная, наприм., брата к сестре, избирает символом строгое зелье:

Подолянка рутку сіє,
Сіє, сіє, висіває:
Брат сестру обіймає,
Обіймає не чужую.
(Жег. Паул., т. II, стр. 46). **/64/**

Эта символизация руты, вероятно, имеет основание в древних верованиях, общих всем славянам. В песнях великорусов хотя не упоминается так часто рута, но однако видны следы одного и того же понятия. На берегах Дона поют:

Не ходи ты, детинушка, возле моей хаты,
Не топчи ты, детинушка, моей руты-мяты,
Не для тебя я садила, не для тебя поливала.

Достойно замечания, что рута встречается в песнях с «шевлією» (Salvia), мятою и лебедою.

По городу ходжу,
Руту-м'яту саджу.

Посію я рутоньку над водою,
Та вродиться рутонька з лободою.

«Шевлія» с рутою употреблялась для какой-то ворожбы.

На шевлію воду грію,
На руту не буду...

Кажется, это происходит от сходства символического значения этих трав. Мята носит название «кучерявой» и «крутой» и служит сама по себе символом одиночества и

строгости нравов. Женщина садит мяту и говорит, что от нее «родинонька одріклася»; дивчина, подшучивая над волокитством казака, называет себя свитою из кучерявой мяты. В «шевлію» прячется «молодая», и никто там не может найти ее, кроме суженого. Что касается до лободы, то она встречается в таких сбивчивых образах, что трудно извлечь из них символ.

К символам девственности относится еще и фиалка: венок из этого весеннего цветка не могла носить девушка, утратившая невинность:

На долині ходять паняночки
Та збирають хвіалочки
На неділю на віночки;
А я свій утратила
Під явором зелененьким
З козаченьком молоденьким.

«Барвінок» (Vinca pervinca) — растение, очень любимое малорусами. Он носит эпитеты «зелененький», по своей неувядаемости (по-немец. immergrün), и «хрещатий», по причине звездистого расположения стеблей, которые стелются по земле. Девушки вьют из него венки для весенних хороводов; такой венок применяется к будущему жениху:

Ой вінку, мій вінку! Хрещатий барвінку!
Та коли б я знала, що за милим буду —
Я б ще кращий звила!

Барвинковый венок — необходимая принадлежность свадебного торжества. Невеста носит его как свой отличительный **/65/** симптом, пока не переменит на «муслиновый рубочок». Этот венок как символ торжественного, но короткого состояния жизни, «заручeная» так любит, что хотела бы его «позолотити», чтоб часом долее в нем «походити». «Зелененький барвіночок» нарочно для невесты растет «в лісочку, біля точку, на жовтенькім пісочку»; и, когда придет урочное время, — девицы срежут его «рівненько та хорошенько», потому что она «піде між люде, а їм славонька буде». В воскресный день весною парубок нарвет барвинку и несет «до дівоцької громади» спрашивать — что это за чудное зелье; дивчата одни отгадывают и стыдливо признаются, что

То зілля барвінок, барвінок
Паняночкам на вінок, на вінок.
(Жег. Паул., т. I, стр. 20).

Так-то барвинок служит постоянным символом брака. Дивчина вспоминает о барвинке, когда говорит о любви и сравнивает с ним милого:

Зелененький барвіночку! стелися низенько!
А ти, милий, чорнобривий, присунься близенько.
(Макс, изд. 1, стр. 63).

Образ расцветания барвинка значит счастливый брак, а увядший барвинок означает несчастное состояние замужней женщины:

Хрещатенький барвіночку, зав'яв у прискриночку!
Зв'ялив-зсушив, вражий сину, чужу дитиночку.

Барвинок, зелье свадебное, садится и на могилах, может быть по причине той таинственной связи, которую славянские народы находят между браком и смертью.

Может быть, в этом символе мы должны видеть высокое понятие наших предков о прочности и святости брака: они избрали символом его растение простое, не пышное, но неувядаемое и сверх того напоминающее подобие небесной звезды. А может быть, барвинок не есть ли таинственный символ перехода от одного состояния жизни к другому; в этом смысле, быть может, садят его на могилах, понимая под смертью переход от земного бытия к небесному.

«Любысток» — растение, посвященное любви, от чего, вероятно, произошло его название (Levisticum) . Купание в любыстке сообщает способность нравиться:

Чи ти в любистку купався,
Що так мені сподобався?

В купальной мифологической песне рассказывается, как «Івана» порубили «на капустоньку» за то, что он перешел **/66/** девушкам дорогу, и посеяли его «в трьох городцях», и выросли «три зіллєчка»: барвинок, василек и любысток:

Зелененький барвіночок
На віночки для дівочок;
Василечок для запаху;
Любисточок для любощів.

«Ромен-зілля», ромашка — растение, тоже посвященное любви. Девушки копают «ромен», чтоб чародейским его действием нагонять кручину на молодцев.

На гору! Копать зілля ромену:
Ой моє зілля-ромену,
Нащо я тебе копаю,
Що я чарувати не знаю?
Підгорни крилля під себе:
Щоб тобі важко без мене!

Как любовное зелье упоминается в песнях «розмай-зілля», чуть ли не баснословное растение. Дивчина, которую парубок перестал любить,

Побігла до гаю
Копать зілля розмаю;
Ще й до гаю не дійшла —
Розмай-зіллячко знайшла;
Полоскала на льоду,
А варила на меду;
Приставила до жару:
«Кипи, корінь, помалу!»
Іще корінь не скипів.
А вже козак прилетів.

Подобное растение у великорусов носит название приворотного корня.

«Бурковина» (Melilothus offic.) — символ верности: о чумачихе, которая не может успокоиться во время разлуки с мужем, говорится, что она «б’ється, як буркун-зілля в’ється». Дивчина, предостерегая своего милого, говорит ему:

...бурковина стеле:
Не ходи, козаче, на улицю без мене!
Косарики косять — бурковина в’яне:
Не люби іншую, бо серденько в’яне!

«Василек» (Ocymum Basilicum) у малорусов есть, во-первых, символ святости и чистоты: это происходит оттого, что он кладется в церквах под крест и делаются из него кропила; во-вторых — символ приветливости и учтивости:

Посію я василечки, буду поливати:
«Ходи, ходи, Василечку, буду привітати!»

В песнях свадебных говорится о молодом, что его нельзя было не полюбить, «коли» он «в світличку василечком підіхо-/67/дить». В Украине есть предание, что этот цветок вырос на могиле юноши по имени Василь. У великорусов василек упоминается часто, но это совсем другой цветок, называемый по-южнорусски волошки (centauria cyanus); он носит эпитет лазоревого цветика:

Ах свет ли, мои аленькие, цветочки!
Свет лазоревые василечки!
(Сахар., ст. 190, Пес. св., № 15).

«Хміль», по-малорусски хмель, — символ волокитства, отваги и удальства. Мать спрашивает сына, на которого жалуются «молодиці, що він шкоду робить»:

Де ти, хмелю, зимував?
Де ти, синку, ночував?

Парубок увивается около дивчины, как хмель около тычины. Казака-гуляку сравнивают с хмелем:

Ой рости, хмелю, над водою, врівні з тичиною!
Ой далеко чути та козака орла, що йде з кобзиною.
(Вац. из Ол., стр. 443).

А в песнях Мазуров поется:

Аже бысь ты, хмелю, по тыски не лязь, —
Не робыв бысь, хмелю, с паньенок невяст.

Удалого героя в битве казацкие песни сравнивают с хмелем:

Чи не той то хмель, хмель, що коло тичини в’ється?
Гей то наш козак Нечай, що з ляхами б’ється!

Это значение хмель получил по причине своего наркотического свойства. В песнях он носит название: «буйне зілля». «З хмелем треба з розумом жити», — говорит пословица. В великорусских песнях ярый хмель есть знамение веселости и гостеприимства:

Без тебя, хмелюшки, не водится:
Добрые молодцы не женятся,
Красные девушки замуж не йдут.

(Сахар., Пес. пляс, № 7).

Я выщиплю хмелю, хмелю ярого,
Позову я гостя, гостя дорогого.

«Мак» — символ убранства и пышности. Девицу, хорошо /68/ наряженную, сравнивают с «маковою квіткою». Также и казак идет «до шинка», будто «паня яка».

А на йому сличок, як мак процвітає.

С маковым цветом сравниваются удовольствия белого света:

Ой мій світку, білий світку, як маковий квітку,
Нащо тебе зав'язали в білую намітку.

Мак употребляется в любимые кушанья малорусов и потому считается символом роскоши: «їж, дурню, бо то з маком», — говорит пословица. Есть другая поговорка о маке: «Сім літ Бог маку не родив та й голоду не було».

«Біждерево» (Artemisia arbotanum) имеет мифологическое значение в поэзии южнорусов. Колядка карпатская говорит, что оно с мятою и барвинком выросло из посеянного пепла трех девиц, убитых мачехою за то, что не устерегли золотой ряски на коноплях:

Посіяла ленку на загуменку;
Ленок ся не вродив, лем конопельки:
На тих конопельках золота ряса;
Обдзюбають ю дрібні прашкове.
Оганяли єї три сиротойки:
Іще ге! ге! ге! дрібні пташкове.
Не обдзюбайте золоту рясу:
Ей бо ми мали люту мачуху;
Она нас спалить на дрібний попелець,
Она нас посіє в загородойці,
Та з нас ся вродить трояке зілля:
Перше зілейко — біждеревочок;
Друге зілейко — крутая м'ята;
Третє зілейко — зелений барвінок.
Біждеревочок — дівкам на кісочок;
Крутая м'ята — хлопцям на шап'ята;
Зелений барвінок — дівчатам на вінок.
(Коляд., собр. Берец.).

«Сон-трава» (Anemone pulsatilla) есть символ таинственностей, сновидений и откровения будущего или неизвестного, большей частью несчастного. В Украине и Великой России есть поверье, что, положив сон на ночь под подушки, можно увидеть, какую загадаешь тайну (Марк [евич] [36], Укр [аинские] мелод[ии] и Сахар., Рус. чернок., стр. 43).

В песне о гетмане Свирговском [37] говорится:

Молода сестра сон-траву рвала,
Старую питала, старую питала: /69/

«Чи той сон-трава козацькая сила?
Чи той сон-трава козацька могила?» —
«Ой той сон-трава, голубонько, зростився у полі,
Та піймала ту траву недоля та дала моїй доні.
Ой доню ж, доню, моя доню! Годі сумовати,
Що нашого молодого Йвана в могилі шукати».
(«Запорож. стар.», ч. 1, № 1, стр. 30).

О «цар-зіллі» (Delphinium elatum) песни говорят, что оно растет «в глибокій долині, на високій могилі», а над ним «сива зозуля кує». Когда трава будет уже «на сіно покошена, і зелена діброва спустошена», тогда останется одно «цар-зіллячко». Девицы его полят, но до тех пор, пока не имеют милого; в противном случае милый будет бить свою дивчину:

Осталося цар-зіллячко:
«Обполи мене, моя дівочко!»
«Ой рада я обполоти,
Та стоїть милий у ворот:
Держить киї тоненькії
На мої плечі біленькії».

«Трой-зілля» — растет за морем и имеет целебную силу против отчаянной болезни, но чтоб достать его, надобно иметь три коня:

Перший коник, як ворон чорненький,
Другий коник, як лебедь біленький,
Третій коник, як голуб сивенький.
Першим конем до моря доїду,
Другим конем море переїду,
Третім конем трой-зілля достану.

У великорусов есть свой баснословный травник, заключающий растения, иногда не существующие в природе, но большею частью такие, которым придают особенную тайную силу. К таким растениям принадлежат: прикрыш, спасительное средство от наговоров (Сахар., Рус. чернок., стр. 42); плакун, прогоняющий злых духов: по народному преданию, появление его в чьем-либо огороде предвещает несчастие; кукушкины слезы, которым приписывают тайную целительную силу; адамова голова, употребляемая охотниками; нечуй-ветер, спасающий от пагубного действия ветра: его могут достать только слепцы (Сахар., Рус. чернок., стр. 44).

Преимущественно поверья о баснословных травах совпадают с мифологическим праздником Купала, с таинствами Ивановой ночи [38]. К купальским травам южной России принадлежат: «кропива», о которой рассказывают, что в нее превратилась злая сестра, «полынь», которую носят весь день 24 июня под мышками для предохранения от вражеской силы» В песнях она символ горечи и неприятности: **/70/**

Батькова хліба не хочеться,
Батьків хліб полинем пахне.

Убранство дивчат на Купала, по известиям Пассека [39] (Очер. Рос, т. I, стр. 95), составляют: красные пахучие васильки, пунцовые черевички, панский мак, желтый зверобой, нагидки, разноцвет, мята; канупер и колокольчики — необходимая основа купальского венка. Но, кажется, важнее всего играет здесь роль былица, забудьки или чернобыльник (Artemisia vulgare), из которого участвующие в празднике Купала делают

себе поясы в виде перевесел, какими связываются снопы. Из колдовских трав Купала известны: тирлич, употребляемый ведьмами при летании на Лысую гору, и папоротник, о котором рассказывают столько чудных преданий. Великорусы думают, что он цветет пламенем, а малорусская песня говорит, «що він цвіте без усякого цвіту». Кто достанет папоротник, тот получит богатство и узнает тайны природы и будущее. Но южнорусские предания повествуют, что если из тысячи одному и удастся овладеть волшебным цветком, то злая сила обратит приобретенное сокровище ему же в погибель. Я могу указать на два народные рассказа об этом поверье: праздник на Купала в «Веч[ерах] на хут[оре]» Гоголя [40] и Ионек [41] в «Клехдах» Войцицкого, ч. 1, стр. 92 — 103. У великорусов в это время добывается также разрыв-трава, которой приписывается свойство разламывать железные запоры и замки. Целый год ворожеи дожидают Ивановой ночи, чтоб запасаться целебными зельями; тогда-то злые ведьмы и чаровницы выкапывают лютые коренья из-под мшистых пней на порчу людей крещеных. Всем этим, однако, не ограничивается мифологический травник Купала: у южнорусских поселянок есть еще заветные зелья, которыми обвивается чучело марены. Без сомнения, волшебные и обрядные травы купальской ночи есть скрытые символы каких-нибудь понятий.

Хлебные растения служат вообще символами Божия благословения, изобилия и домашнего счастья. Такое значение преимущественно видно в колядках. В щедровках поют, что «святий Ілля» ходит по дворам и «носить житяную пугу, де він махне, там жито росте», — дар Божий. Во время свадьбы ставят «на покуті» ржаной сноп, прообразуя тем будущее счастливое житье новобрачных. На праздник обжинков из пшеницы вьют венки, и такой венок называется «краснішим над місяченька, яснішим над зорі»; он «вище гори», прибавляет песня, показывая тем важность его. Пшеница между другими произрастениями есть самое прекраснейшее и достойнейшее по народному понятию. В свадебных песнях с пшеницею сравнивают невесту: **/71/**

На горі пшениця рясна —
Наша княгиня красна.
(Жег. Паул., т. I, стр. 84).

Разумеют под нею образ девицы, как под житом образ вдовы:

Не буду я жита жати, іно пшениченьку,
Не буду я вдови брати, іно дівчиноньку.

Сеянием и собиранием хлеба изображаются разные отвлеченные понятия, напр., «доля», судьба человека:

Ходила дівчина по полю,
Сіяла долю з криполу.

Грусть по родине:

Де тебе, роде, узяти?
Чи посіяти дрібним насіннячком?

В свадебных песнях говорится, что невеста «сіяла» красу свою. В песне о Марусе и гайдамаках грусть жены по мужу и нетерпеливое ожидание его возвращения выражено в следующей форме:

Ізорала Марусенька мислоньками поле,
Кареньkими оченьками та й заволочила,
Дрібненькими слізоньками все поле змочила.

(Макс, изд. 1, стр. 74).

В военных песнях поле сражения, покрытое трупами, изображается в виде забранной и засеянной нивы:

Чорна рілля заорана
І кулями засіяна,
Білим тілом зволочена
І кровію сполощена.
(Макс, изд. 2, стр. 154).

В песне о кошевом Гордеенко жатва пшеницы принимается за символ политического дела:

Запорожці, небожата! Пшениця не зжата!
Ой підіте, оглядіте, пшеницю зажніте!

Различное состояние растущего хлеба применяется часто к возрастам человека и переменам в его жизни, наприм., «жито половіє, а козак робити не вміє»: здесь подразумевается вступление казака в зрелость и, между тем, неуменье работать. «Ой час, мати, жито жати», — говорит девушка, бо «колос схилився»; пора и меня замуж отдать, «бо голос змінився». Пшеницей, которую «горобці п’ють», никому так не идет владеть, как тому казаку, которого «палками б’ють». **/72/**

Просо и лен — вероятно, были какими-то символами в древности, что видно из старинных хороводных игр с припевами:

А ми просо сіяли, сіяли,
Ой лелю-ладо, сіяли, сіяли!

Или

Пахарі пахали чотирма сохами,
П’ятою бороною: насіємо льону!
Горю горювати! З ким мені сей льон брати?

«Конопля», сломленная бурей, сравнивается с красной девушкой, которую «батюшка хочет замуж отдать, а мачеха в черницы постричь» (Сахар., стр. 263, Пес. обр., № 3). В южнорусских песнях с коноплями, намоченными в воде, сравнивается житье бедной женщины, изнывающей на чужбине:

Ой як тяжко конопельці в сирій воді гнити,
А ще тяжче молодиці на чужині жити.

«Очерет», камыш — у южнорусов растение поэтическое: об нем рассказывают много сказок. Произрастание камыша в болотах соединяет с собою разные поверья. В шуточных песнях очерет с осокой образуют супружескую двойственность; с сухим очеретом сравнивают неуклюжего парубка:

Ой сухий очерет та лепехуватий:
Чи ти ж мене не пізнав та прибрехуватий?

«Былина» — символ бедности, одиночества и сиротства. В великорусских песнях горемыку сравнивают с «былинушкой-кавылушкой», что она «во поле шатается». Дивчина говорит парубку:

Ти не вітер, ти не буйний, а я не билина,
Є у мене отець-мати і уся родина.

Б. Деревья

«Калина» — дерево в высшей степени поэтическое у малорусов. Ягоды ее служат украшением: в каждой крестьянской избе увидите их по стенам. Они употребляются в кушанья и напитки, особенно в известный напиток, называемый вареною, который составляет необходимую принадлежность свадебного пира. В песнях калина встречается чрезвычайно часто и есть символ красоты, девственности и любви.

Любимый всеми славянами красный цвет, который имеют зрелые ягоды калины, служит изображением девичьей красоты: «Ой ти, дівчино, червона калино!»; «Уста твої рум’яні, як калина».

Белизна цветов ее — символ девственности и невинности. В свадебных песнях поют: **/73/**

Є у лузі калина:
Білим цвітом зацвіла;
Йшли до неї дружки рвати:
Не дала си зломати,
Як пішла Ганусенька:
Наламала си квіту,
Калинового цвіту;
Прийшла до світлоньки
Між краснії дівоньки,
Поставила на столойку
Против свого личенька,
Питалася свого батенька:
«Чи буду я такая,
Як калинонька тая?»
(Жег. Паул., т. I, стр. 71 — 72).

Добре було дівчиноньці та при матиноньці;
Калинонька одцвітає, цвіток опадає;
Йде дівчина від матінки: гаразд їй минає.

Уютное положение калины «в лузі над водою» придало ей значение скромности, робости, невинности, требующей покровительства и защиты:

Червоная калинонько, над водою стоїш?
Молодая дівчинонько, що ж ти ся м’я боїш?
— Ой коби я не червона, я б ту не стояла,
Ой коб я не молодая, я б ся тя не бала.

(Жег. Паул., т. II, стр. 113).

В свадебных песнях, описывая счастливую жизнь невесты «у тата в холодочку, при солодкім медочку», обращаются к калине:

Де ти, калино, росла,
Що-сь така красна,
Тонка та висока,
Листом широка?
— У лузі при криниці,
При студеній водиці.

Калиновые ветви, опущенные вниз, служат образом печали и уныния:

А в тієї калиноньки
Аж до землі віти гнуться;
А в тієї дівчиноньки
Аж до землі сльози ллються!

Червоная калинонько! Чого гілля опускаєш?
Молоденька молодице! Чого сльози проливаєш?

Калиновые пучечки, т. е. ягоды, связанные в виде букета, служат знаком любви, напр.:

Ой на горі калина,
Там ходила дівчина,
Калиноньку ламала
Та в пучечки в’язала, **/74/**
На козака кидала
и пр.

Ходить «в луг по калину» считается любимым праздничным провождением времени дивчат. Но сколько прилична такая прогулка молодежи, столько смешна она для старика. В одной песне «старого діда» баба посылает ломать калину, и эта песня носит насмешливый тон.

У всех славянских народов брак и погребение, любовь и смерть имеют между собою таинственную аналогию; часто одно берется сравнением для другого. Как и калина, дерево свадебное, которое служит необходимым условием «весілля» и дает знать, в каком доме отдают девушку замуж:

Знати, Ганусенько, знати,
З котрої вона хати:
Двір її обтернений,
Калиною обсаджений, —
(Жег. Паул., т. I, стр. 86).

является в песнях того же народа деревом погребальным, памятником могил:

Посадіть ми, мої сестри, в головках калину,
Нехай каждий о тім знає, що з кохання гину.
(Вац. из Ол., стр. 339).

Также казак, умирая на чужбине от печали по родной стороне, просит, чтоб ему «посадили в головках калину».

Войцицкий утверждает, что калину сажали только на могилах неженатых, но это заключение несправедливо: мать, сведенная к гробу жестоким обращением мужа, умирая, просит, чтоб на ее могиле посадили калину и

С калини, щоб схилилися віти:
Прийдуть до мене маленькії діти.

Скорее можем заключить, что калина, посаженная на могиле, есть символ любви, в какой бы форме эта любовь не проявлялась — любовь ли это супружеская, братняя, материнская, привязанность ли к родине: калина, опустившая свои раскидистые ветки на могилу, как будто знаменовала, что под нею тлеет сердце, умевшее любить, сердце, убитое безграничным чувством.

Как песни, так и предания русского народа заключают в себе намеки на мифологическое значение калины. В песне купальской о Ганне, утонувшей в Дунае, говорится, что краса ее превратилась в калину:

Не ламайте, люди, по лугах калини,
У лугах калина — то Ганнина краса.
(Очер. Рос, т. I, стр. 109). /75/

В другой песне парубок с дивчиною убежали, желая тайно обвенчаться, приехавши в одну деревню, они не застали дома священника и поехали далее; проехали поле, проехали другое, на третьем поле споткнулся их конь и

Став у полі козак терном,
А в долині дівчина калиною!
Вийшла синова мати того терну рвати,
Дівчинина мати калини ламати:
«Се ж не терночок, — се ж мій синочок!»
«Се ж не калина, — се ж моя дитина!»

В Малороссии калине приписывается особенная сила: калиновый цвет, сорванный и приложенный насвежо к страстному сердцу, утишает его томление:

Я по садочку хожу, цвіт-калину ламаю,
Цвіт-калину ламаю, до серця прикладаю,
До серця прикладаю, бо я дружини не маю.

Ой по лужечку хожу та калиноньку ламаю;
Калину ламала, до серденька клала:
Чи не перестане моє серце тужити?

Калина — любимое дерево птиц. В галицкой свадебной песне калина жалуется на пташек; беспрестанно льнут они к ягодам и надокучают ей:

Просилася калинонька з лужейка, з діброви,
Бо юж мені надокучили райськії пташкове:
Гілойку ми поламали, ягідойки видзюбали.
(Рус. весил., стр. 75).

В песнях великорусов калина так часто не упоминается, как в малорусских, но беспрестанные припевы: «Ах, люли, калинка моя», без которых обойдется редкая плясовая песня, показывают, что в понятии народа калина также играет поэтическую роль.

Деревьям, растущим при воде: вербе, лозе, явору, тополю есть в песнях каждому свой характер и своя символизация, когда их применяют к человеческой жизни.

«Верба» — настоящее малороссийское дерево, краса деревенских огородов, — есть дерево домашнее, слободское — всегдашний свидетель человеческих занятий: под вербами «круглий танець іде», дивчата поют веснянки; «молодиці» белят полотна; верба в малорусских песнях — символ сборищ и свиданий. В веснянке приглашают девушку «обмести вербу»: там расположится парубок с товаром:

С крамом хорошим — с обідцями:
Усім дівочкам розпродує,
Дівці Ганночці так дає. **/76/**

В другой петровочной песне поют:

Під вербою зеленою
Там стоять коні посідлані,
І посідлані, і поуздані,
І нагаєчки почеплені:
Тільки сісти та поїхати
У «Високеє» дівок сватати.

Верба также условное дерево войсковой порады запорожцев:

Та стоїть верба сама одна,
Та вона к собі гостя має,
Гостя має — кошового;
Приїхав кошовий для поради.

Народная поэзия касается особенно следующих свойств этого дерева: произрастания над водою и шума, отличного от шума других деревьев.

Верба опустила в волны свои плакучие ветви и усыхает при корне: это образ несчастия, убитого сиротством и одиночеством. Девушке жалко печального дерева, она обращается к нему, как будто к одушевленному существу:

Ой, не стій, вербо, над водою
Та не пускай гілля до Дунаю;
А Дунай-море розливає,
І день, і ніч вода прибуває,
В верби корінь підмиває,
З верху верба усихає.
Стань собі, вербо, на риночку
В хрещатенькім барвіночку,
У запашнім василечку!

Шум вербы нередко служит знамением вести:

Ой у городі у Львові зашуміли верби;
Козак-бурлак вбитий лежить — то Серпяга мертвий.

Или неожиданности:

То не верби лугові зашуміли, —
То безбожні ушкали налетіли.
(Макс, изд. 2, стр. 5).

О вербе есть много преданий, показывающих, что она играла важную роль в старинных поверьях славянского племени. По уверениям Войцицкого, существует на Руси такое предание: в темном лесу надобно найти зеленую вербу, которая никогда не слыхала ни шума воды, ни пения петуха; из ее дерева можно сделать такую флейту, что как заиграешь на ней, /77/ то мертвые встанут из гробов и отжившие придут с того света («Klechdy», t. I, стр. 92).

«Лоза» — символ жалкого состояния и бедности:

Ой як тяжко бідній лозі,
Коли вітер віє!
Іще тяжче сиротині,
Коли серце мліє!

Лоза — постоянная свидетельница слез и тоски: несчастная женщина, замученная мужем-пьяницею, с лозами выплакивает свое тяжкое горе:

Під лозиною всю ніч ночувала,
С лозиною всю ніч розмовляла:
«Ой лозино! Ти жовтий цвіте!
Пропала я, ох, бідний квіте!
Ой лозино, та ти ж зелененька!
Пропала я, та ще й молоденька!»

Девица, оставленная милым,

За густими за лозами
Плаче слізоньками.

И казак, заблудившись в чужой стороне, видит цветущие лозы единственными свидетелями своей горести:

Ой зацвіли густі лози
Козакові при дорозі;
Козак ходить, козак блудить,
Під собою коня нудить.

Запорожцы, убегая из своих днепровских ущельев, поют:

Покрилося Запорожье густими лозами,
Та вмилися запорожці дрібними слізами!

«Явор» — прекрасное грустное дерево, посвящен в малорусской поэзии несчастью человеческому. Песня ясно говорит об этом, рассказывая, что «з-під явора вийшла біда» и пошла «на світ». С явором, нагнувшим ветви в воду, сравнивается казак, которого сердце ноет, будто подмытый корень дерева:

Стоїть явір над водою — в воду похилився;
На козака невзгодонька — козак зажурився:
. . . .
Не рад явір хилитися — вода корні миє;
Не рад козак журитися, да серденько ниє!
(Макс, изд. 1, стр. 3).

Явор — свидетель смерти и человеческих бедствий:

Під явором зелененьким
Лежить козак молоденький.

Ивася разбойники **/78/**

Повели в чисте поле з голими мічами,
Зняли з його головоньку під трьома яворами;
(Вац. из Ол.).

легкомысленная дивчина

Утратила свій віночок
Через дурний розумочок,
Під явором зелененьким
З козаченьком молоденьким;

или как «дівка бранка Мар'янка»

Під явором яворином
Та й з невірним татарином.
(Жег. Паул., т. I, стр. 172).

Из-под явора течет «ріка», и этот образ всегда означает слезы:

З-під явора вода тече,
Вода тече річеньками;
Плаче мила слізоньками.

З-під явора ріка тече,
По Михайлі мати плаче.

Под явором прощается мать с сыном. Девица дожидается, как «явір схилить головоньку», чтоб узнать о смерти своего возлюбленного. Любовник понимает шум этого дерева: он не даром, он ему что-то вещует:

Ой за воротами явор зелененький, а їм вітер колише,
Та десь-то моя кохана дівчина чотири листи пише.
(Жег. Паул., т. II, стр. 125).

Ни об одном дереве не осталось в песнях столько мифологических преданий. Явор с «тополею» выросли на могиле мужа с женою, разлученных злою свекровью:

Поховали сина та під церквою,

Нелюбу невістку під дзвінницею;
Посадили на синові зелений явір,
На невістоньці білу тополю.
Вийшла тоді мати сина поминати,
Нелюбу невістку та проклинати.
Стали їх могили та присуватися,
Став явір до тополі та прихилятися.
«Либонь же ви, дітки, вірненько любились,
Що ваші вершечки докупи схилились» *.

* Разительное сходство с шотландскою балладою William and Margareth (см. Pop. Songs of the Bord. 7).

На могиле убитой Насти: **/79/**
Де Настині білі ноги,
Там виросли два явори.
(«Klechdy», т. 2, стр. 119).

В колядке карпатских горцев рассказывается следующим образом превращение молодца в явор. В воскресный день, ранним-рано, бранила мать сына и проклинала. А сыночек разгневался да и велел старшей сестре хлеба напечь, средней коня вывесть, а меньшей коня оседлать. И вот — старшая сестра напекла хлеба, средняя вывела коня, а меньшая оседлала да и начала брата расспрашивать: «Когда ж ты к нам, братец, гостем приедешь?» — «Возьми, сестрица, бел камень и легкое перо, пусти ты их во тихий Дунай: как бел камень выплывет наверх, а легкое перо упадет на дно, как солнце взойдет на западе, — тогда, сестрица, я к вам гостем приеду! Подумай, сестра, что это значит!» — Сказавши это, молодец

Навернув коньом от схода сонця
І поїхав си в темний лісочок.
Виїхав овін в чистеє поле, —
Став му коничок білим камінцем,
Він молодейкий зеленим явором.
Ой стала мати за сином плакати
І пішла она єго гледати;
Вийшла она си в чистейке поле,
В чистейке поле, в болонічейко;
Та й став єї дожчик кропити.
Стала она си на білий камінь,
На білий камінь під зелен явір.
Ей стали єї мушки кусати,
А стала она галузки ламати;
Прорік яворець до неї словце:
«Ей, мати, мати, мати проклята!
Не дала єсь ми в селі кметати
І ще ми не даш в полю стояти.
Білий камінець — мій сивий коничок,
Зелене листя — моє одіння,
Дрібні прутики — мої пальчики.
А мати ся розжалувала

Та і на порох ся розсіяла!»
(Колядки, Собр. Берец., сооб. Срезн.).

Мифологическое значение явора придало впоследствии этому дереву и религиозную важность. В свадебной песне ангелы вступают «на явори» разбудить из гроба отца невесты, чтобы он посмотрел на свое дитя. В колядке карпатской говорится, что на яворах висела колыбель младенца Господа: **/80/**
А на городойці є загородойка,
В тій загородойці два яворойка;
На тих яворах висить скобойка,
На тій скобойці колисанойка,
В тій колисанойці сам милий Господь.
(Оттуда ж).

Нелишним считаю упомянуть, что в песнях часто встречаются «три явори», растущие вместе. Это что-нибудь тоже значит?

«Тополь» — по-малор[усски] «тополя», символ статности и молодости; напр., «як тополя — така гожа!»

Тополя упоминается в числе деревьев, которые выросли на могиле убитой Насти:

Де Настина головочка,
Там виросла тополочка.
(«Klechdy», I. 2, стр. 119).

Вот какое предание сохранилось об этом дереве: молодой казак уехал за море и оставил на родине свою милую; неутешная «коханка», по совету волшебницы, стоя на высокой могиле в степи, выглядала своего любезного и превратилась в тополь. Памятником этого предания остался в Малороссии обряд, отправляемый на Зеленой неделе [42]. Дивчата выбирают одну из своих подруг, привязывают ей поднятые вверх руки к палке и таким образом водят по слободе и полю с припевами:

Стояла тополя край чистого поля:
«Стій, тополонько! Не развивайсь,
Буйному вітроньку не піддавайсь!»

Это называется «вести тополю»; выбранную девушку зовут «тополя».

Нелишним считаю заметить, что на тополе часто изображается сокол, напр.:

Сидить сокіл на тополі,
Співа пісню об злій долі.

Сидить сокіл на тополі;
Батьків син у неволі.

«Дуб» — служит символом мужчины в разных видах жизни. Купальская песня указывает на это прямо:

Та йшли дівочки та по ягідочки...
Червоная калинонька! Зелені дубочки! Червоная калинонька — то дівочки,
Зелені дубочки — то парубочки.

Сухой дуб означает несчастного, переносящего свое горе с крепостью духа: **/81/**

Розвивайся, сухий дубе! Завтра мороз буде!
Убирайся, гарний хлопче! Завтра поход буде!
«Я морозу не боюся — завтра розів'юся,
Я походу не боюся — завтра уберуся!»

С дубом, прибитым грозою, сравнивается бездольный казак:

Чом дуб не зелений!
Лист туча прибила.
Козак невеселий —
Лихая година!

В поэзии малорусской есть одна очень часто встречаемая форма: письмо, написанное на древесном листе и посылаемое к родным, особенно к отцу и матери. Дубовый лист упоминается в таком обороте. Девушка, потерявшая невинность, извещает «письмечком» на дубовом листе «батенька» о своем преступлении.

Дуб играет важную роль в наших сказках и народных повестях. Известна сказка о Вернигоре и Вернидубе — Горыне и Дубыне великорусов. В «Клехдах» Войцицкого (т. II, стр. 52) напечатан прекрасный рассказ о дубе и королевне, который можно услышать и от наших стариков.

«Липа» — как уверяют знатоки славянской народности, в старину имела большое значение и до сих пор следы этого остались в поэзии народов нашего племени. Снегирев [43] полагает, что древние славяне благоговели перед старыми деревьями, особенно дубами и липами (Русск. прост. празд., т. I, стр. 80). Войцицкий говорит: в старые годы липа считалась украшением садов и сельских огородов; оттого-то в песнях и пословицах народных встречается столько липовых мостов, колыбелей, столов и т. п. Под липами, продолжает он, бывали собрания, суды и пиршества: от того в малорусских песнях остался образ — «під липкою стіл стоїть»: это напоминает старые обычаи (Zar. Dom., т. II, стр. 223). Коллар (т. I, стр. 19 — 429) приводит следующую песню:

Горела липа, горела;
Под ньоу паньенка седела:
Кедь на ню искры падали,
Вшецци младенци плакали!
Хиба тен еден не плакал,
Чо ю фалешне миловал!..

и пытается объяснить ее двумя способами: она должна быть, говорит он, началом старославянского языческо-религиозного гимна, который пелся при жертвах, и напоминает древний обычай наказывать огнем девушек, утративших невинность, а может быть, здесь надобно разуметь принесение в жертву христианской рабыни. У великорусов остался такой образ: **/82/**

Ах в поле липонька,
Под липою бел шатер,
За тем столом девица.

У хорутанцев [44], особенно западных, почти все песни начинаются липою. Горные жители Татров до сих пор верят, что в рощах липовых обитают неземные существа. В малорусских песнях липа не имеет, по-видимому, определенного символа: есть, однако,

такие образы, которые невольно заставляют задуматься, как, наприм., следующий отрывок из купальской песни:

Ой на річці, на Дунаї,
Ой там липонька потопає,
Та наверх гілочка випливає.
Вона дубочка проклинає:
«Та подай, дубочку, хоть гілочку!»
«Та нехай тобі кленок дає:
Що він з тобою вірно живе!»

«Клен» — дерево священное у русского народа, потому что в неделю пятидесятницы ветвями его осеняют церкви и дома. Замечательно, что в южнорусских песнях самое дерево клен упоминается редко, а кленовый лист встречаем часто. В веснянках поют:

Ой піду я в зелений ліс
Та вищиплю кленовий лист,
Та пішлю пислоньки до батенька,
Чи звелить батенько гуляти?

Отец отвечает дочери:

Гуляй, доненько, скільки хоч:
Двічі молодою не будеш!

Бурлак, вспоминая о своих летах, прокатившихся без роскоши, восклицает:

Літа мої молодії! де ся ви поділи?
Чи завились в кленовий лист та в ліс полетіли?

Клен изображает умершего предводителя казаков, а опадание с него листьев принимается за символ погибели дружины:

Росло, росло клен-дерево, та й став лист опадать,
Закопали отамана — самі стали пропадать!

В свадебных песнях кленовый лист означает отца невесты:

Але-сь ми мовив,
Кленьовий листойку,
Що не будеш падати,
А ти падаєш,
Землю вкриваєш:
Дорожейки не знати.
Але-сь ми мовив, **/83/**
Та мій любий батейку,
Що мя не даш від себе,
А ти мя даєш,
Відпосягаєш,
Долейки не осужаєш.
(Русск. весил., стр. 75).

Здесь, вероятно, намек на поверье народа, которое говорит, что если с клена опадает рано лист, то будет суровая зима.

Любовник накрывает кленовым листом след своей милой; кто знает, какой смысл заключается в этом:

Ой де ж моя дружина
В темнім лісі заблудила!
Тільки знати слідочок
Од білих ножочок,
Де дружина походила.
Ой піду я в лісочок
Та вирву кленовий листочок,
Та прикрию слідочок,
Де дружина походила!

Как ни сбивчивы эти образы, но, верно, с представлением о кленовом листе соединяется какое-то символическое понятие. Случайно в народной поэзии почти ничего не бывает.

«Береза» в свадебных песнях означает чистоту невесты, а срубленная береза — символ брачного соединения:

Мовила береза діброві:
«Не стій, діброво, зашуми,
На мене, березу, не дивись:
Бо я сьогодні біла й зелена,
А завтра буду зрубана».

Береза в отношении к дубу принимается, как мать к сыну:

Дуб до берези верхом похилився,
Козаченько своїй неньці низько поклонився.

В чистім полі стояла береза,
Край берези зелені дубочки

— здесь также дубочки означают детей, а береза — мать. Эта символизация напоминает одну сказку, в которой мать превратилась в березу. Может быть, и в этой песне:

Березо! Чому ти не зелена?
Ой, як мені зеленою бути,
Підо мною татари стояли,
Копитами землю грасували,
Шаблями гілля позтинали.
(Макс, изд. 1, стр. 9).

Береза означает мать — родину, у которой варвары побили детей. Впрочем, это одни догадки. Гораздо явственнее пред-/84/ставляется нам следующий отрывок мифологических сказаний — превращение в березу утонувшей девушки:

Казав брат сестриці: «Не становись на кладку!»
Сестриця не слухала, на кладку ступила,

Кладочка схитнулась, сестриця втонула.
Як потопала — три слова сказала:
«Не рубай, братику, білої березоньки,
Не коси, братику, шовкової трави,
Не зривай, братику, чорного терну.
Білая березонька — то я молоденька,
Шовкова трава — то моя руса коса,
Чорний терен — то мої карі очі».

«Осина» — дерево волшебное по народному сказанию: осиновым колом бьют ведьм и прикалывают мертвецов, когда они встают из могил. Осина слывет проклятою. Карпатская колядка рассказывает, что Богородица с божественным младенцем шла через гору и

Стала си на хвильку спочивати,
Хвильку спочивати, сина повивати;
Стало їй ся, стало галуззя кланяти,
Буччя й коріння і всяке творіння;
Лем ся не вклонила проклята осика,
Проклята осика і проклята терня.
Проклята осика! Бодай єсь ся трясла
До суду судного, до віку вішного!
А прокляте терня — бодай єсь кололо
До суду судного, до віку вішного!
(Коляд., собр. Берец.; сооб. Срез.).

Другое предание говорит, что на осине удавился Иуда, и с тех пор листья на ней всегда дрожат, хотя бы не было ветра. В песнях осина — дерево несчастливое, дерево разлуки:

Як ми з тобою, любочко, совіталися,
Під білою березою цiловалися,
Під гіркою осикою розпрощалися!
Під білою березою все цвіти цвітуть,
Під гіркою осикою все трава сохне.

«Грабина» — дерево, о котором сохранилось мифологическое предание. В грабину превратилась невестка, заклятая свекровью:

Іди, невістко, од мене пріч,
Іди дорогою та широкою
Та й стань у полі та грабиною,
Тонкою, високою,
Кудрявою, кучерявою!
Туди йтиме мій син з війська,
Буде на тебе дивитися.
«Ой я, матінко, і світ пройшов
Та не бачив дива дивнішого,
Як у полі тая грабинонька,
Тонка та висока,
Кудрява, кучерява». /85/
«Та бери, синку, гострий топір,

Рубай грабину із кореня».
Перший раз цюкнув — біле тіло,
Другий раз цюкнув — кров дзюрнула,
Третій раз цюкнув — промовила:
«Не рубай мене, зелененькую,
Не розлучай мене, молоденькую!
У мене свекруха розлучниця:
Розлучила мене з дружиною
І з маленькою дитиною!»

Хвойные деревья — ель и сосна большей частью имеют значение печальное. Ель в малорусских песнях принимается за символ покорности:

Похилнеє дерево ялина,
Покірнеє дитятко Ганночка.

Ель, как видно, была надгробным деревом:

Нашла в полі ялину —
Матінчину могилу.
(Макс, изд. 1, стр. 52).

В великорусских песнях упоминается о «частом ельничке».

Из сосновых ветвей в Малороссии на свадьбах делают так называемое «гільце», или коровайное украшение. В Подлясье, по известиям Войцицкого, сосна означает целомудрие невесты (странно). Гроб, по мнению украинцев, должен состоять из четырех досок сосновых и одной кленовой:

Одну доску кленовую,
А чотири сосновії.

Войцицкий говорит, что с этим обычаем соединяется поверье, будто сосна не позволяет мертвецу встать из могилы и бродить по земле (Zar. Dom., т. II, стр. 252).

«Терен», исключая вышеприведенное поверье о заклятии осины и терна, не представляется в песнях с такой невыгодной стороны. В терновые ягоды превратились очи утонувшей Ганны:

Не ламайте, люде, по лугам терну,
У лузі терен — Ганнині очі!

В терновый куст превратился парубок, убежавший с дивчиною. В песнях осталось сравнение очей красавицы с терном: «Очі, як терночок».

«Вишня» во многих песнях означает убогую прекрасную девушку:

Осталася сиротинонька,
Як вишенька зелененька.
Убогая, хорошая, як у саду вишня. **/86/**
По садочку ходжу, черешеньку саджу:
«Через тебе, стара мати, нежонатим ходжу».
«Ой женися, мій синочку, женися, небоже!
Возьми собі убогую, то й Бог ти поможе».

С цветом вишневым сравнивается красота лица, он как будто сообщает способность нравиться:

...їхав панець молодець,
Навернув коня к загородойці,
А іще ближче к черешенойці,
Виломив собі квітку — галузку
Та й си приложив к своєму личку;
Коби, Божейку, таке личейко,
Таке личейко, як тот квітойко...
(Коляд., собр. Берец.).

Вишня также дерево любовных свиданий:

Ой в садку вишенька,
Попід нею стежейка,
А староста ся питав:
«Кто ту стежейку витоптав?»
Ой витоптав стежейку
Молодий Івасенько,
З вечора ходючи,
Подарунки носючи.
(Русск. весил., стр. 115).

«Яблоня». Цветение и принесение плодов ее служит символом выдания замуж невесты. В малорусских веснянках поется:

Яблунь моя зеленая,
Докуль тобі в лузі стояти?
Стою літо і другеє,
На третє розвинуся,
Пушу віти додолу.
Молодая Варочка,
Докуль тобі в батька жити?
Живу літо і другеє,
На третєє заміж піду.

В великорусских свадебных песнях мы находим подобный оборот:

Яблонька моя, яблонька,
Яблонька моя, зеленая,
Не цвети теперешней весной,
Не плоди сладких яблочек!
Я скажу моему батюшке,
Я скажу моей матушке,
Что ты худо поливана,
Что ты худо лелеяна,
Оттого и яблочек нет и проч.

Авось — либо батюшка и сжалится,
Авось — либо матушка и взмилуется: **/87/**
Не отдадут меня нынешний год

На чужедальнюю сторону.
(Сахар., стр. 151. Пес. свад. № 170).

Яблоко означает гостинец:

Як будете яблочки рвати — зірвіте й моє,
Як понесете до отця, до неньки — понесіть моє.

Яблоко, подаренное милым, имеет привлекательное свойство:

Як одно яблочко зірвала,
Тебе, милий, спізнала,
А другеє розкусила,
Тебе, милий, полюбила!

В великорусских свадебных песнях два яблока означают жениха и невесту:

Что каталися два яблочка,
Два яблочка, два сахарные,
На серебряном, на блюдечке;
Что первое то яблочко —
То Иван, сударь Степанович,
А другое то яблочко —
Лизавета Пантелеевна.
(Сахар., Пес. свад. № 47).

В сказках упоминается о золотом яблочке. Это, вероятно, относится к какому-нибудь древнему верованию.

«Груша» часто встречается в песнях великорусов. Это дерево — предмет нежного попечения девицы; выходя замуж, она прощается с нею, как с привычною подругою своих красных дней. Груша как будто покровительница ее девичества: светлица, где жила красная, осенена ветвями груши, зелеными:

Грушица, грушица моя,
Грушица зеленая моя.
Под грушею светлица стоит,
Во светлице девица сидит.
(Сахар., стр. 210, Пес. свад. № 35).

И сама невеста сравнивается с любимым цветущим деревом:

Цвела грушица во садику,
Цвела моя во зеленом;
Жило мое дитятко
Во терему, во высоком.
(Сахар., стр. 149, Пес. свад. № 161).

«Кипарис» — дерево, чуждое русскому климату, известное народу только по преданию. Но у великорусов есть для него **/88/** своя символика. Предание говорит, что крест Иисуса Христа состоял из различных дерев, в числе которых был кипарис. Народ имеет особенное уважение к кипарисным образам, оттого в песнях мы находим эпитет: «Свято дерево кипарисно». Нередко упоминается о кипарисных гробах: этот образ мог

зайти к нам от западных народов, у которых кипарис служил символом смерти. Кипарисное дерево, посаженное возле терема, в песнях есть символ покровительства Божия. Свадебные старосты, собираясь на сватанье, сравнивают себя с соловьями, слетающимися на кипарис, что означает приступление к делу с благословением Божьим. Несчастный узник, помирающий в темнице и плачущий по детям, сравнивается с соловьем, свившим гнездышко на святом кипарисном дереве (Сахар., стр. 225, Пес. удал. № 3). Этот образ, кажется, означает семейство.

Упоминается в песнях малорусских виноград, но, кажется, без всякого символа. Достойно замечания, что всегда почти он носит название «сад-виноград»:

Через сад-виноград
По воду ходила и т. п.

ГЛАВА III

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Если мы будем искать в песнях непрерывной летописи событий и перемен, какие испытал народ, то с этой стороны найдем в них большие недостатки. Песни народные никогда не могут служить для нас полною историею, не всегда можно прибегать к ним за объяснениями исторических свидетельств; во-первых, потому, что как песни принадлежат поэзии, а поэзия предполагает вымысел, то исторические события подвергаются в них отступлениям от действительности; во-вторых, потому, что многие происшествия, которые рассказаны в летописях с подробностями, в народной поэзии совсем не остались, а между тем многие такие, которые ускользнули от историков, сделались любимым ее достоянием. Только то оставляет впечатление на народ, что имело на него сильное влияние: надобно, чтоб известное происшествие касалось сердца каждого неделимого, чтоб народ целою массою создавал свое бытие; потому-то эпохи важные, переломы в существе нации, изменение быта народного долее всего остаются в общей памяти. Таким образом чрез мрак столетий уцелело у нас воспоминание о Владимире — Красном Солнышке [56], в то время когда удельные ссоры, наполняющие наши летописи, погружены в волны забвения.

Разница между историческими песнями Великой и Малой Руси чрезвычайно значительна. У великорусов остались предания о глубокой старине Киевской, о Владимире и богатырях его, хотя народ представляет себе славную эпоху превратно. Казалось бы, у малорусов скорее должна была сохраниться история их отечества, и однако мы еще ничего не видали в таком роде. Деятельная жизнь последующих времен отразилась в песнях полно и ясно, цветы фантазии не в силах были совершенно закрыть истины; у великорусов, напротив, ни одно из исторических событий, оставшихся в народной памяти, не представляется таким, каким оно было в самом деле, народная фантазия все переделала по-своему.

А. Малорусская историческая народная поэзия

Я заметил, что события дотатарского периода не составляют достояния исторической народной поэзии малорусов, но это не дает нам повода заключить, чтоб в народе исчезло даже темное воспоминание о старинной его жизни. Напротив, **/109/** народная поэзия сохранила в себе самые древние старославянские обломки, что мы уже видели из обозрения духовной жизни народа. Дело в том, что все эти памятники древности являются без целости, в отрывках и не могут войти в отдел собственно так называемой исторической поэзии. Времена уделов, равным образом времена Гедимина [57] и наследников его, не вошли в нее. Историческая поэзия включила в свой цикл эпоху возрождения юго-западной Руси, период Гетманщины [58]. И потому-то ее можно назвать исключительно народною летописью важнейших происшествий Гетманщины.

Древнейшие исторические памятники украинской народной поэзии относятся ко второй половине XVI века. Но определить, какое именно событие из истории казацтва первое загремело в народных песнопениях, невозможно. Максимовичу говорил бандурист, что он слышал от своего учителя большую думу о Дашкевиче. Несколько отрывков показывают, что народ сохранил в памяти подвиги и других гетманов первых времен, как напр., Венжика Хмельницкого [59]:

Ой поїхав Венцеслав на море гуляти,
А повісив через плечі та сагайдак багатий.

Вероятно, существовали об этих ранних временах думы и песни, но все это еще не сделалось достоянием образованного мира.

Вообще нельзя определительно сказать и о последующих, более ясных временах, что такое-то происшествие осталось в песнях, а другое не сделалось достоянием поэзии. Мы, например, имеем ряд песен, который соответствует самому порядку, в каком действительно следовали события одно за другим, и вдруг встречаются пробелы: происшествие кажется важным, а песни молчат об нем. Вправе ли мы заключить, что оно не входило в историческую народную песню? Никогда. Если дело идет о тайных сношениях гетманов, о делах кабинетных, то очень могло быть, что народ и не знал об них, но когда, например, мы читаем песни о победах Хмельницкого и не находим ничего об Корсунской битве [60], то должны даже предположить, что и об ней была, а может быть, и теперь есть народная песня. Начни кто-нибудь списывать народные памятники, — на каждом шагу встретит он много неизвестных исторических песен. Не без основания можно предположить, что вся история Гетманщины была достоянием народных песнопений, но не все еще дошло до нас: многое погибло, иное, может быть, со временем откроется.

Политическая жизнь Малороссии была воєнною. Казак, руководимый идеями веры и любви к родине, жил в беспрерыв-**/110/**ной брани; следовательно, исторические малорусские песни есть преимущественно песни военные. Враги Христа — турки и татары — были непримиримыми врагами казаков. Поляки, утеснявшие их веру и родину, обратили на себя месть казацкого оружия. По присоединении Малороссии к России шаткие отношения Малороссии пробуждали военную деятельность гетманцев. Таким образом, историческая воинственность Малороссии может быть рассматриваема в трех отделах, и народная песня, сохранившая об ней воспоминания, разделяется на три цикла: турецко-татарский, польский и русский.

События турецко-татарского цикла имеют разные сцены действия и различны по своему характеру. Песни этого отдела мы можем разделить на: 1) памятники о подвигах казаков на берегах Дуная, 2) памятники о морских походах казаков и 3) памятники о татарских набегах и степной войне с татарами.

Дунайские походы казаков начались весьма рано и чаще всего воспринимаемы были по поводу неясных политических отношений Молдавского господарства. Древнейшая из песен в этом роде, какие мне известны, есть песня о Дмитре Байде, гетмане-князе Дмитрии Вишневецком [61]. Рыцарская жизнь его, мужество, с каким он громил наследие Гиреев [62], услуги, оказанные Иоанну Грозному [63], окончились страшною, но изумительно твердою кончиною. Летописи говорят, что его разбили и взяли в плен; напрасно султан предлагал ему дочь в замужество и княжество в Украине: рыцарь православия отверг предложение и был повешен за ребро на крюк; так висел он два дня, славя Христа и проклиная Магомета [64] (см. Htc, Kor. Pols., т. IV; Bielski, Kr., стр. 614; Старовольского [65] «Bellatores Sarmat.», стр. 188). Намекая на то, что его взяли обманом, в песне говорится, что он «в Царяграді на риночку» пил «мед та горілочку»; царь турецкий предлагает ему:

Возьми собі царівночку
Та будеш паном на всю Україночку!

Рыцарь отвечает:

Твоя донька хорошая,
Твоя віра проклятая!

Царь приказывает повесить его «на гак ребром».
Вот открывается другая картина. Байда

... висить та хитається
Та на свого цюру поглядається.

И приказывает он подать тугой лук убить «три голубоньки царю на вечерю». Несмотря на чудный характер этого рассказа, он имеет историческую достоверность. Летописцы говорят, **/111/** что повешенный на крюке Вишневецкий застрелил из лука нескольких знатных турков. Султан, узнавши о такой диковинке, сам отправился смотреть на него. Димитрий пустил последнюю стрелу в султана, но слабые руки не в силах были направить оружие. Султан велел его расстрелять стрелами. В песне Байда застрелил царя, произнося последние слова:

Було тобі знати, як Байду карати:
Було Байді голову зняти,
Його тіло поховати,
Вороним конем їздити,
Хлопця собі зголубити.

Отлагая в сторону вымыслы, в словах, приписываемых Байде, заключается как будто намек на мысль, что сила казацкая тогда только может быть безвредна для мусульман, когда мусульмане сумеют ласкою сделать из казаков себе союзников.

К этой эпохе молдавских походов относятся подвиги Свирговского и Серпяги [66]. Свирговский, Ахиллес [67] героических времен казаччины, которого летописи называют славою дней своих, лицо блистательное в истории Малороссии. Долго он боролся с бусурманом, страшились его крымские варвары, знали его на берегах Дуная; всегда готовый на защиту христианства, он отвергал золото, подносимое малодушными данниками турков, и с благодарностью принимал бочки дорогого вина, которое казаки распивали «за віру християнську» («И[стория] М[алой] Р[оссии]», Бант[ыш]-Кам [енский], т. I, стр. 135). Последний поход его был предпринят в Молдавию против турков по просьбе государя Иоанна. Славна была война эта для имени казацкого. Много побед

одержано над неверными, турки уходили из Молдавии, казаков принимали как избавителей. Но под городом Килиею постигла беда войско запорожское, пришлось погибнуть славному вождю. Изменник, молдавский боярин, предал гетмана. Конисский пишет, что Свирговский погиб при взрыве крепости. Песня рассказывает о кончине его согласно с повествованием Энгеля [68] («Gesch[ichte] der Ukraine», 73) и Кантемира [69] («Опис[ание] Молд[авии]», стр. 108):

Як того пана Йвана,
Що Свирговського гетьмана,
Та як бусурмани піймали,
То голову йому рубали.
(«Запор. стар.», ч. I, № 1, стр. 31).

Об этом-то последнем подвиге славного вождя казаков у нас есть три песни, в которых кроме верности рассказа, рез-**/112/**ких характеристических черт разлито глубокое участие народа к подвигам казаков того времени. Песня изображает скорбь его семейства, гадание сестры по «сон-траві», безнадежность матери и плач всей Украины. Туманом подернуло русскую землю по смерти ее верного сына: кречеты и орлы смутным хороводом возвещали украинцам, что гетман лежит «в глибокій могилі» близ города Килии.

Вслед за этими песнями по историческому порядку следуют песни о Серпяге. Это имя совершенно неизвестно в истории, и не без основания г. Срезневский полагает его за одно лицо с Подковою («Запор. стар.», ч. I, № 2, стр. 128). Удалец, вспомоществуемый казаками, овладел молдавским престолом, но не удержался на нем, был выдан полякам и казнен во Львове, как нарушитель мира с турками. Песня говорит, что когда его похоронили в Каневе, то «по всій Україні відправляли помин».

Другие песни татарско-турецкого цикла описывают морские походы казаков, подвиги тех удальцов, которые на легких чайках пускались «по щироглибокому морю» громить нехриста, сожигать турецкие города, освобождать христианских пленников. Морские походы были отличительною чертою запорожцев во все время существования Сичи [70]. В песнях об них особенно господствует религиозность, упование на Бога. Запорожцы пускались в море напропалую; чайки их подвержены были бурям и нападению турецких галер; казак, отправляясь гулять по неверной стихии, готовился к верной смерти и запасался на дорогу всеми духовными сокровищами, которые, по его мнению, или могли предохранить от явной гибели, или послужить залогом спасения в будущей жизни. Матерняя молитва, посты и милостыни заранее очищали казацкую душу. Были поверья, что за грехи одного казака Бог наказывает всех и губит целые суда, это доказывает песня об Олексие Поповиче [71]. Таким же духом проникнута дума о морском походе гетмана Серпяги. Казаки отправились в поход и, застигнутые бурею, занесены в дунайское устье и там находятся несколько дней в бездействии, ежеминутно угрожаемые врагами. Никто не мог ничего сказать в утешение, оставалась надежда на Бога. Стали казаки класть усердно поклоны, молиться, и вот скоро утихла буря, суда их выступили, и Бог им помог: они «тяжко нехристя розбивали, татар буряків плюндровали». Обыкновенно поприще такого молодечества были берега Тавриды [72], около городов Сербулата, Козлова [73] и Кафы , но не раз запорожские чайки переплывали Черное море и рыцари громили берега Анатолии [75], разоряли Синоп [76] и Трапезунд [77]. Иные походы удавались, и казаки «добували **/113/** слави лицарства», возвращались на родину с добычею и обещанием пожертвовать половину приобретенного богатства на церкви Божьи, но случалось, что удальцы, схваченные турками, тяжело расплачивались за свою храбрость. Их ожидали: или страшная смерть, или томительный плен. Пленники содержались на галерах в самом несчастном положении. Нам остались думы, в которых описываются бедствия галерных невольников. Можем привести здесь одну, нигде еще не напечатанную:

«У святу неділю не сизі орли заклекотали, як то бідні невольники у тяжкій неволі заплакали, угору руки підіймали, кайданами забряжчали, Господа милосердного прохали та благали: «Подай нам, Господи, з неба дрібен дожчик, а знизу буйний вітер. Очай (!) би чи не встала на Чорному морі бистрая хвиля! Очай (!)би чи не повиривала якорів з турецької каторги! Та вже ся нам турецька бусурманська каторга надоїла; кайдани — залізо ноги повривало, біло тіло козацьке молодецьке коло жовтої кості пошмугляло! Баша турецький бусурманський, недовірок християнський, по ринку він походжає, він сам добре теє зачуває, на слуги свої, на турки, на яничари зо зла гукає: «Кажу я вам, турки-яничаре, добре ви дбайте, із ряду до ряду заходжайте, по три пучки терміни (?) й червоної табелі (?) набирайте, бідного невольника по тричі в однім місці затинайте! То ті слуги, турки-яничаре, добре дбали, із ряду до ряду заходжали, по три пучки терміни (?) й червоної табелі (?) у руки набирали, по тричі в однім місці бідного невольника затинали, тіло біле козацьке молодецьке коло жовтої кості оббивали, кров християнську неповинно проливали!» Стали бідні невольники на собі кров християнську зобачати, стали землю турецьку-бусурманську клясти-проклинати: «Ти земле турецька-бусурманська! Ти розлуко християнська! Не одного ти розлучила з отцем, з матір'ю, либо брата з сестрою, либо мужа з вірною жоною! Визволь, Господи, всіх вірних невольників з тяжкої неволі турецької, з каторги бусурманської, на тихі води, на ясні зорі, у край веселий, у мир хрещений, в городи християнські! Дай, Боже, миру царському, народу християнському славу на многі літа».

В отделе песен о морских походах важное место занимает дума о Самойле Кишке [78]. Она изумительна по своей величине, по отчетливости изображения и составляет важный памятник прошедшего быта, хотя нельзя сказать положительно, к какому времени относится описываемое в ней происшествие; героем ее мог быть или Самусь Кушка, кошевой запорожский, живший в 1576 году, или Самойло Кишка, гетман, поставленный поляками в противность Сагайдачному [79]. Паша трапезундский возит казаков, привязанных к уключинам, по Черному морю, от одного приморского города до другого. Отступник поляк бьет по щекам почтенного Самойла, но дума таится в голове опытного старца. Паша плывет в Козлов сватать дочь турецкого губернатора. По случаю праздества мусульмане не : Удержались от запрещенного напитка, казаки воспользовались этим, перебили своих мучителей и поплыли к лиману. Сторожа казацкая стояла при устье Днепра; увидели малорос-**/114/**сияне чужую галеру, — думают, что турки, палят из пушек, галера тонет! Самойло выхватывает из-за пазухи красное знамя, которое носил на груди как надежду избавления, и распускает над водою. Казаки бросаются помогать, пленники спасены. Начинается всеобщий пир, разделяют добычу. Самойло кончает жизнь в каневском монастыре.

К этим морским песням принадлежит еще романс о том Богуславце [80], который, по рассказу Конисского, был освобожден из плена влюбившеюся в него турчанкою (Макс, стр. 81).

Самые многочисленные песни турецко-татарского цикла есть те, в которых описываются татарские набеги и казацкие подвиги против неверных на степи. Пространство от Малороссии до Черного моря, где находилась Сеча, берега Миуса, Самары, Кагальника, от Дона до Буга издавна было тем широким раздольем, на котором наездники мерялись удалью. Там-то, на этих безграничных степях, была главная сцена казацких битв. Частые набеги крымцев приучили казаков к войне с ними до того, что эта война стала для них чем-то обыкновенным, оттого такое множество песен этого отдела. Одни из них изображают татарские набеги в картинах резких, способных оживить в воображении историка холодные рассказы летописцев. Таковые песни помещены в сборнике Жеготы Паули, том I. Другие описывают наездничества, битвы с татарами, — их очень много. В пример можно привести думу об Ивасе Коновченке [81], песню о Голоте [82],

думу об Азовских братьях [83], множество песен, относящихся к XVII веку; между известными мне первое место занимает дума о кошевом Серке [84], нигде еще не напечатанная. Наконец, к этому отделу относятся те семейные казацкие песни, в которых описывается прощание казака с матерью, женою и любовницею и где главную роль играет поход в степь.

Второй цикл исторических песен относится к периоду войны казаков с поляками. Стефан Баторий [85], дав привилегии казакам, расселив их по Украине, сам приготовил неприязненные отношения их к своему королевству. Но вначале малорусы не были враги ляхам. Чувствуя кровное славянское родство, признательные великому покровителю, они клялись «з ляхами, як з рідними братами жити і королю Польщі служити, як тому Богові, що живе високо на небі». Такие слова произносит все казацтво в думе о Богданке Ружном [86] («Запор. стар.», ч. I, стр. 82). Современники видели в дарах Батория залог нового продолжительного счастья. Не так оно вышло. С восшествием на престол иноплеменной династии Вазы [87] начался смертельный раздор. Сейм стесняет права рыцарей православия; скопища крамольников, покровительствуемые **/115/** правительством, замышляют ниспровергнуть веру праотцов. Казаки ли, свободные, храбрые, преданные вере и родине, стерпят такие несправедливости? Не они ли служили верою и правдою польскому правительству? Не они ли присягали жить с ляхами, как с родными братьями? Сколько украинской крови пролито за честь короны Ягеллонов? [88] И чем теперь им отплачивают? Казачество поднимается. Косинский [89] ведет свои дружины против новых врагов, бывших до того старыми друзьями. Но первое восстание не оставило нам памятников. Может быть, они были да исчезли перед блеском последующих событий. Но вот является Наливайко [90]. Поэзия сохранила описание страшного сожжения Могилева [91], победу при Чигирине, взятие Канева и несчастную измену Тетеренка [92], горестное поражение и смерть Наливайка. Во всех этих песнях события рисуются верно. Первая из них («Запор. стар.», стр. 36 — 38, ч. I) изображает ожесточение казаков и мщение над врагами. Вторая («Запор. стар.», стр. 86 — 91) отличается народной философией, в которой видим свойственное малорусскому народу самопредание в волю Божию и сознание собственной справедливости. Она оканчивается пророческим предчувствием будущего, далекого счастья Украины. Две песни о Тетеренке («Зап. стар.», ч. I, стр. 42 — 53) изображают горькое состояние пленников в Польше и то всеобщее негодование и презрение, которое постигло слабых в лице казненного казака-отступника. В песне о смерти Наливайка («Запор. стар.», ч. I, стр. 38 — 42) описывается мучительная кончина гетмана, горесть его дружины и надежда на отмщение врагам. Происшествие рассказано согласно с повествованием Конисского, противно летописям польским. К этому отделу памятников ранней вражды поляков с малорусами относится также дума о Лободе («Запор. стар:», ч. I, стр. 53 — 58). Рассеянные после поражения Наливайка казаки собираются в городе Батурине судить и рядить, как им снова «на Польщу стати і Україну єднати». Начальником их — чернобровый кошевой Сулима [94]. Является чура Лободы, описывает пред собранием казаков подвиги своего предводителя, напоминает о плачевной кончине его и просит мщения. Итак, эпоха Наливайка кончилась, но она порождает новую; брань завязалась, но это еще начало, будет продолжение, будет и конец. Чигиринская битва [95] и медный котел в Варшаве не останутся без последствий. «Не таківські козаки, щоб напасть забули: не таківські й ляхи, щоб прощеніє дали» («Запор. стар.», ч. I, стр. 90). Народ чувствует, что будут ему времена горькие. Славна победа под Чигирином, радуется русский народ, но дума, описывая торжество малорусов, говорит: «Буде й нашим лихо, як зозуля **/116/**кувала». Народ вступает в новую сферу жизни, но сколько искушений должно перейти ему! Будет беда, будет «лихо», говорит ему тайный голос, но что будет, — тому не миновать! Так, видно, угодно Богу. И русский человек в смирении преклоняется пред высочайшею волею:

Не нам на теє рахувати,

Наше діло Богові молиться,
Спасителю хреститься.

Провидение, готовя его на важные дела, поведет через скорби и мучения, но пошлет ему и надежду, прострет над ним милующую десницу: «Від того і сього Боже нам поможе». Что будет, то будет, но будет и такое время, когда русский человек с величием скажет:

Отже ізійшли й пройшли злії незгодини,
Немає нікого, щоб нас подоліли.

Таков смысл песен об эпохе Наливайка. В периоде от Наливайка до восстания при Хмельницком казацкая сила окрепла, хотя с виду кажется, будто угнетения и рабство убивали всякое стремление к свободе. Сагайдачный, пользуясь обстоятельствами и слабостью польского правительства, удержал казацтво между двумя крайностями и предуготовил его быть спасением целой русской нации. Сагайдачный показал, что Малороссия нужна для Польши и вместе при случае может сладить с Польшей; с виду он был предан польскому правительству, но поступал вопреки ему, действуя всячески для блага своей родины. Как ни важен этот перелом в истории Малороссии, но он тускло светится в известных нам народных памятниках. Сагайдачный в памяти народа остался типом удалого грубого бурлака («Запор. стар.», ч. I, стр. 58 — 60). Такая песня ничего не доказывает, да притом, может быть, здесь разумеется другой Сагайдачный, не знаменитый наш гетман. Другие песни, которые относятся к войнам с неверными, как например, песня о взятии Варны [96] (Жег. Паул., т. I, стр. 134 — 136), не указывают вовсе на отношения к Польше. Отчего это? Опять скажем, что, может быть, и были песни, да мы их не знаем, а может быть, их и не было. Сагайдачный был политик, действовал скрытно и медленно, если и враждовал с поляками, то при удобном случае мирился, у него в виду была цель дальнейшая. Такой образ действия совершенно не народен. Народ принимает к чувству и сознанию только те события, в которых он сам действующим лицом. Оттого, как ни важна история Гетманщины при Сагайдачном, но она не могла блеснуть в таких живых красках, как предыдущая и последующая эпохи. Со смертью Сагайдачного настали времена страшные. Католики и отступники поработили совершенна **/117/** Малороссию. Вера в унижении, народ в рабстве, казацтво лишается даже имени. Бедственно кончились попытки Тараса [97], Павлюка [98], Гостряницы [99]! Но пламень мести, надежда свободы борются со всеобщим отчаянием. Вот надгробная песня Чураю [100], сподвижнику Гостряницы («Запор. стар.», ч. I, стр. 74 — 76). Оплакивая своего предводителя, казаки все еще думают мстить за него, и страшно будет их мщение. Но чем далее, тем хуже. Отчаяние перевешивает надежду. Вот превосходная дума о трех полководцах («Запор. стар.», ч. I, стр. 102 — 109). В предсмертной агонии казак напрягает ослабелые мышцы, но силы его истощились. Не мало еще запорожцев, они все-таки рыцари, бьют в бубны, трубят в трубы, — пение, молитва, — гремят сабли, помавают [101] длинные копья, рвутся рьяные кони, но увы! Что сокрыто под этим наружным блеском? Ужасное сознание скорой гибели!.. Три полководца начальствуют казаками. Один в раздирающей картине изображает падение казачества: глухая смерть воцарится на месте кипучей жизни; вороны и орлы будут искать казаков и не найдут их; исчезнут храбрые: из костей их враги сварят себе адский пир и будут ликовать на развалинах народной чести и славы! Другой молчит — сердце ноет; друг хочет его утешить, но сердце друга растравлено, и слова его вместо утешения подливают яду в истерзанную душу. Третий — гетман Павло Пивтора-Кожуха [102], что делает он? Тоска сшибает его с ног, он не поддается тоске, — он хочет залить ее горелкою! Ужасная песня народного отчаяния! Горького времени памятник!

Но вот прошло несколько лет; казачество воскресает, растет, мужает. Настала пора грозная, эпоха освобождения — это время Хмельницкого. В сотне песен отразилось это

памятное время и каждая выражает деятельность целого народа. Дума о Барабаше [103] и Хмельницком («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 9 — 10), в которой описывается, как Хмельницкий выхитрил у Барабаша письмо короля Владислава , занимает первое место в ряду их. Песня о Желтоводской битве [105] есть выражение восторга народного после первого успеха. Вслед за этою победою над поляками тянется ряд других побед, которые почти все оставили воспоминания в народной поэзии. Песня о Пилявском деле [106] («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 20 — 25), о битве под Случью [107] («Запор[ожская] стар[ина]», ч. II, № 1, стр. 26 — 27), о подвигах гайдамаков Лисенка [108], Морозенка [109], Перебийноса [110] есть поэтические рассказы о событиях. Песня об осаде Львова [111], если только в самом деле она относится к Хмельницкому (Жег. Паул., т. I, стр. 139 — 141), носит форму обрядную: ее поют при колядках не только в Галиции, но и у нас. Осада Збараша [112] оставила по себе насмешливую песню, в которой ранен-**/118/**ного в ногу Иеремию Вишневецкого [113] приглашают потанцевать по-немецки, и между тем рассказывается, как ляхи с голоду драли зубами с собак шкуры.

Торжество Малороссии после Зборовского мира [114] выразилось в коротких, но сильных напевах, изображающих довольство и радость освобожденного народа:

Та немає лучче, та немає краще, як в нас на Вкраїні,
Та немає жидів, та немає панів, немає унії.

В тот час, говорит дума, была казацкая справа, что сама себя на смех не давала, неприятеля ногами топтала. Романтический поход сына Хмельницкого [115] в Молдавию, где по-казацки, вооруженною рукою, Тимош добыл себе невесту, остался в народной поэзии как памятник казацкого молодечества. В думе о походе в Молдавию («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 28 — 32) видно свежее торжество казацкой силы, сознающей себя в победах над всеми врагами. Гордый своими недавними подвигами, Хмельницкий ведет победоносную дружину и спрашивает Василия Молдавского [116]:

«Що ти зо мною, пане ясновельможний, будеш діяти? Що ти будеш гадати? Чи військо своє до мого привертати? Станом становиться? Чи ти зо мною будеш биться, чи миром уставим мириться? Чи голови свої на позор віддавати? Чи на примир'я — на бенкет будеш нас приймати, половину Волощини нам в подарок дарувати?»

Василий зовет на помощь Потоцкого [117], но у старика была в памяти беда корсунская, смерть сына и горький татарский плен. У него с тех пор стал «розум жіноцький». Ляхи из Сучавы «додому втікали», а казаки «провідали» Яссы, и прекрасный город потерял свое великолепие. Так-то говорит в конце дума:

«То Хмельницький добре учинив: Польщу засмутив, Волощину побідив, Гетьманщину звеселив!»

Это был апогей величия Богдана, а вместе с тем и его родины. Песня о взятии Ясс («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 32) есть исторический отрывок, она носит колорит прежней думы. Песня о взятии Бендер («Запор. стар.», ч. I, № 1, стр. 33 — 35) принадлежит к двум циклам казацкой песенности: татарско-турецкому и польскому. Казаки сражаются с бусурманами и поляками и побеждают их зараз. Ляхи, которым казаки стали страшны донельзя, «з Бендерей втікали, турків і татар зоставляли, козакам-молодцям добич і славу казали». Бендеры были разграблены, «бусурманці» прогнаны и избиты, казаки возвращаются с гетманом Хмельницким домой, «набравши слави». В этой песне, кроме обыкновенного рыцарского духа, видно, как идеи политические становились достоянием **/119/** целой массы. Казаки советуют бусурманам, врагам своим, «не бути заедино з ляхами, а Польщу під себе єднати». Видим, что сношения Хмельницкого с мусульманами

истекали из потребности подчиненных; видим и то участие, которое принимал народ в делах отечества, и ту живую любовь казаков к своему предводителю, которая личные отношения его принимала за потребность целой нации. Но вскоре национальное торжество затмилось. Наступила вторая война с поляками. Памятниками ее остались нам превосходные песни о Нечае; частью сюда относятся песни о подвигах Морозенка, но они важны более как очерки казацкого характера. Война, как известно, кончилась поражением казаков при Стыре и новым порабощением Украины [118]. Недовольные на своего предводителя, казаки пели:

То не добре пан Хмельницький учинив,
Як з ляхами в Білій Церкві та примир'я становив!

Может быть, к этому времени относится множество песен, в которых малорус покидает свою родину. Белоцерковский договор возвращал полякам прежние права в Украине; Хмельницкий хотел заставить недовольных повиноваться. Малороссияне бежали из родной земли в «Волощину, Угорщину» (Венгрию) и в так называемую чужую Украину, южные области Московского государства. Таким образом в 1652 году недовольные волынские казаки убежали на берега Сосны и основали Острогожск. Около этого времени начались другие переселения, из которых потом составилось пять слободских полков. Изгнанники долго были связаны узами родства и любви с отечеством своих дедов. Не один казак, покидая родные поля, оставлял отца, мать, сестру, и сердце его всегда обращалось к заветному западу. Оттого столько писем, поклонов, столько различных оборотов, изображающих разлуку с родными, которых разделяли леса и степи. «Прибудь, — говорит сестра брату, — прибудь ко мне на чужую сторону из далекой Украины, через быстрые реки белым лебедем, через темный лес ясным соколом». Куда ни глянет молодая женщина — «усе чужина»; как ей хочется на родину: «Хоч по шию в воду та до свого роду». Такие песни преимущественно сохранились у переселенных малорусов.

Вслед за горестною катастрофою, наделавшею в Украине столько плачу и горести, наступает опять надежда, опять оживает народный дух. Безмолвно смотрел Хмельницкий, как малорусы покидали свои родные хаты и шли искать лучшей доли в чужой стороне. Вот он и вспрянул — опять война. Опять воскресает казацкая слава. Казаки идут в Молдавию, наступает важная минута. Предоставляется высшей воле решить, кто будет владеть святою Украиною? За кем останутся **/120/** Волынь и Подол? Кто решит судьбу Молдавии, раздираемой междуусобием? Чью сторону будут держать татары? Кто станет оплотом христианства от неверных? Вот сколько политических вопросов. Сколько важных дел предстоит к совершению! Такой смысл имеет поэтическое произведение того времени: песня о битве под Жванцем [119] («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 35 — 40). Сцена действия над Днестром, недалеко от Хотина, на Жванском поле. Половина туземцев держит сторону Хмельницкого, половина — сторону поляков. Враги выстроились один против других и вызывают друг друга на кровавое дело, как будто зараз должна решиться вековая распря:

Виходь, виходь, пане гетьмане,
У Жванськеє поле;
Чи то наша буде Вкраїна,
Чи твоє Подолье?
Виходь, виходь, пане гетьмане,
До Жванського гая,
Чи то наша буде Вкраїна,
Чи твоя святая?

Так вызывают поляки Хмельницкого и —

Вийшов пан Хмельницький
Під Жванці з кравчиной:
— Ой прощайся, ляше,
Та із Волощиной,
Вийшов пан Хмельницький
Під Жванці із ханом:
— Ой лядуй же, ляше,
Хто буде з нас паном?

Беспрестанные удачи и неудачи, войны, которые только что оканчивались и опять возобновлялись, утомили народ: он чувствовал потребность чего-то положительного, хотел чего-то решительного, такого, чтобы за одним разом установило его беспокойную и коловратную судьбу. Жванское дело не состоялось, как бы хотелось малорусам. Но предчувствие народа сбылось: година решения судьбы его была близка...

Наступило незабвенное генваря 6, 1654 года. Южная Русь после векового разделения соединилась с северною. Еще далеко была пора новой жизни, еще многим бедствиям суждено излиться на Малороссию, но по крайней мере народ с этой эпохи сознал свою цель, свое призвание. В современных песнях виден дух спокойствия и совершенного примирения с самим собою:

Ой служив же я, служив пану басурману,
А тепер служити стану восточному царю!
Ой служив же я, служив пану католику,
А тепер йому служити не стану довіку!
Ходить ляшок по улиці — шабельку стискає, **/121/**
Козак ляха не боїться — шапки не знімає.
Ось ляшок до канчука, а козак до дрюка...
Тепер тобі, вражий сину, з душею розлука.

Только незначительное число казаков было недовольно присоединением Малороссии и роптало на Хмельницкого; единодушное восклицание Переяславской рады [120]: «Волим под царя православного» было отголоском целого народа. С тех пор казаки помирились с Хмельницким. Лучше всего показывает любовь к нему подчиненных дума, в которой описывается смерть гетмана («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 40 — 45). Недоверчивое, подозрительное казацтво подает роду Хмельницкого надежду на приобретение наследственного гетманства. Так-то велик был избыток любви к этому человеку.

Но смуты, нашествия врагов, внутренние несогласия, неясность политических видов, измены предводителей опять ввергли Малороссию в омут. Уже при смерти Хмельницкого казаки предчувствовали, что им будет худо:

«Чи вже таки ти, пане гетьмане, Хмельницький Богдане, що ти хочеш нас зоставляти, сиротою Вкраїну покидати, ляхам-ворогам на позор віддавати? Чи вже дарма тая безчастная Україна Богові молила, щоб міцна його воля з-під кормиги ляшської свободила, на позор та поругу невірних не давала, щастям наділила; чи все ж дарма вона Богові молила?» («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 41).

С присоединением Малой России к Великой начинается русский период Гетманщины. Малороссия, подчиненная России, еще содержала в себе такие элементы, которые порождали несогласие, раздоры и партии. Постоянно, можно сказать, действовали в этой стране две противные партии. К первой принадлежали люди благомыслящие и большая часть простого народа. Эта партия считала русского царя своим, Украину — частью всеобщего русского отечества. Была противная партия; ее держались честолюбцы, шляхтичи, напитанные польским духом, и те удалые гайдамаки, которых долговременная

война приучила к дикой вольнице. Эта партия не любила правительства. Шляхтичи думали примириться с Польшей; в голове удальцов вертелась помощь неверных против России, а честолюбцы выискивали случая ловить в мутной воде рыбу, чтоб потом захватить в свои руки правление. Волею-неволею народ участвовал в таких смутах, которые продолжались полстолетия и были пресечены решительною волею преобразователя России. Это смутное время отразилось в исторических песнях, составляющих особый цикл, который мы назовем русским. К памятникам этого времени принадлежат песни о Виговском [121], Пушкаре [122] и Юрие Хмельницком [123] («Запор. стар.», ч. II, № 1, сс. 47 — 53, 54 — 55, 55 — 58). В песне о Виговском и Пушкаре Виговский — представитель неприязнен-/**122**/ной партии, а Пушкарь держит сторону русского правительства. Казаки колеблются между двумя партиями. Оба предводителя пытаются преклонить на свою сторону большинство. Но Виговский —

... вів він ляхів
Супротив козаків...

а Пушкар

...стоїть він за віру православну
Та за білого царя...

и потому все казаки переходят на сторону Пушкаря, даром что Виговский называет тех «ледащими», которые с ним «битись начнуть». Хвалился вначале Виговский, что у него и ляхи, и казаки, и татарская орда, но как пришлось к делу, то не стало у него «ні війська, ні коней, ні вірної душі». Как скоро «пушкарівці» стали на ляхов наступать и «передом-середом» ляхов побивать, то бывшие с Виговским предводители-казаки оставили гетмана, перешли к противной стороне и явились к Пушкарю с поклоном:

Прийми мене до себе:
Буду тобі вірно служити,
Буду віру православну щитити,
Царя білого чтити!

Соединились все дружно! Пушкарь взял над ними начальство:

Ляхів розбивав, Виговського проганяв,
Сам у мирі став!

Эта песня имеет для истории троякое достоинство. Во-первых, самое событие рассказано верно с повествованием историков; во-вторых, в ней видим волнение народное, в-третьих, она показывает ту точку зрения, с какой народ смотрел на смутное время, чего желал, требовал малорус и чего надеялся. Столь же важна в последнем отношении песня на смерть Пушкаря, где народ оплакивает в лице этого сподвижника Хмельницкого лучших сынов родины. Песня на пострижение Юрия Хмельницкого дышит состраданием, которое питали казаки к недостойному сыну, памятуя заслуги славного отца.

Песен об эпохе Дорошенка [124] и Брюховецкого [125] у нас не издано. Зато богата песнями эпоха войны шведской, эпоха возмущения Мазепы. Так, как в деле Виговского является народным идеалом верности к царю и любви к отечеству Пушкарь, здесь играет ту же роль Семен Палий [126], полковник фастовский. Его подвиги против врагов Украины, заточение в темницу, ссылка в Сибирь и возвращение воспеты в народных песнях («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 62 — 68, 68 — 70, 72 — 78, № 3, 142 — 157). Ему приписывается

даже выигрыш полтавского сражения; и вся эта эпоха может по песенному /123/ взгляду назваться «паліївщиною». Две песни о полтавском сражении («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 72 — 79) уже не отличаются верностью прежних памятников, но зато носят на себе отпечатки народной философии. Несчастья Украины приписываются прежней шаткости малорусов, которые искали связей с иноземцами. Нельзя не признать в этом высокого голоса целого народа: испытав столько переворотов, малорус оглядывается назад и размышляет: он видит вину своих бедствий в человеческих недостатках и покоряется провидению в надежде, что оно улучшит его участь! Все песни о полтавской эпохе дышат приверженностью к царю и только одна сочинена в противном духе: это песня о кошевом Гордеенке [127], да и ту народ, чуждый мятежных замыслов, переделал по-своему («Запор. стар.», ч. II, № 1, стр. 71). Имя Мазепы носит эпитеты: «Пес, проклятый Мазепа» («Запор. стар.», ч. II, стр. 79 — 82). Так-то не ошибся Петр [128] в малорусах: обряд проклятия подействовал на них очень сильно!

В период от Мазепы до наших времен историческая малорусская песенность упадает: Гетманщина отживала свой век; казачество сходило в могилу; малорусскому народу предстояла жизнь новая, спокойная. Этот переход совершился без потрясений, без упорства с одной стороны, без напора с другой. Две только последние вспышки староукраинского духа обозначились в народной поэзии: восстание Заднепровской Украины в 1768 году [129] или уманская резня [130] и разрушение Запорожской Сечи. Обе эти эпохи оставили по себе много песен. Памятники уманской резни есть исторические рассказы, в которых попадаются и рассуждения. Я не могу об них сказать ничего основательного, потому что нет у меня нужных исторических данных об этой эпохе. В песнях о разрушении Сечи слышим погребальные напевы над тем староукраинским казачеством, которое, послужив органом возрождения Руси, теперь должно было угаснуть, как ненужный остаток прежнего периода народной жизни. Горечь, но без отчаяния, проникает эти песни. Недовольство на царицу [131] проявляется в тихих жалобах, а не в порывах негодования. Запорожцы плачут о своей прежней славе, прощаются с родными ущельями, но вместе с тем ждут и царской милости. Были такие, которые не захотели «князям-енералам груби топити», но большая часть дождалась «од цариці за службу заплати», согласились «в Тамані жить, вірно служить» и забыла «всі нужди».

ГЛАВА IV

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Б. Великорусская историческая народная поэзия

Выше замечено, что историческая великорусская поэзия касается гораздо отдаленнейшего времени, чем малорусская, именно: первого периода нашей истории. Такие памятники седой старины составляют в ней особенный цикл. Характер его — неопределенность, сбивчивость, чудесность и символизм, и потому мы не без основания назовем его полуисторическим, полубаснословным. В этом цикле заключаются те

полупесни и полусказки, те народные поэмы, которые некогда были изданы под названием «Древние русские стихотворения» и из которых Сахаров, исключив многие, поместил некоторые в свой сборник, убедившись сам в их неподложности, под именем «Былин старого времени»: название не совсем сообразное, потому что слово «былина» предполагает верность, определенность, чего в них нет. Большая часть этих поэм имеет между собою связь так, как будто бы она относилась к известному периоду, именно к эпохе Владимира, князя Красного Солнышка. Что это за Владимир? Это типическое лицо властелина. Он живет в Киеве, задает веселые пиры, на которых пьют чары в полтора ведра, едят белых лебедей и поют песни под гусли. Он государь самовластный, имеет право миловать и казнить, но не употребляет его ни на доброе, ни на худое. Это какой-то восточный Сарданапал [132], бездейственный, ленивый, он только «ест, пьет, прохлаждается, ничьих челобитных не слушает» («Др[евние] р[усские] стих[отворения]», изд. 1, стр. 119). Все наперерыв стараются развеселить князя. Он выдумывает разные игры, женит своих богатырей, и все это для того, чтоб удвоить свои веселости. У него жена княгиня Апраксеевна, которую привез ему Дунай сын Иванович из баснословного царства. Эта княгиня поведения очень предосудительного и до того пользуется добротою или, лучше сказать, опьянелостью мужа, что при глазах его амурится с уродами. Вокруг «ласкового осударя» собраны князья, бояре, **/125/** богатыри. Владимир посылает их стрелять птиц: такая охота обыкновенно кончится свадьбою с девушкою, заклятою в птицу. Но нередко богатыри отбивают врагов от Киева и отправляются в далекие страны покорять власти князя чужие народы и добывать себе невест. Замечательно, что знаменитейшие богатыри приезжают в Киев из чужих стран. Добрыня Никитич прибыл из Новгорода, Илья Муромец — из Мурома, Алеша Попович — из Ростова, Михайло Казаринов — из Галича Волынского, Соловей Будимирович — из Леденца (?). Подвиги их чудесны и отличаются особенной массивностью. Богатырь носит «шелепугу», налитую свинцом в 70 пуд [ов]; ударят его в голову железом, он только кудрями потряхивает; конь его пробегает по пяти верст в скок. Типический характер врагов их, напр., Змея Горынича, Тугарина Змеевича, еще менее человеческого. Женщина рисуется с самой дурной стороны. Это существо бездушное, непостоянное, легкомысленное, только жена Ставра Боярина не подходит под обыкновенный тип.

К какому времени относятся эти песни? Когда появились, о чем в самом деле поют они? Без успеха эти вопросы занимали умы наших этнографов. Странно предположить, будто бы в самом деле они прямо описывают времена Владимира, сочинены при нем и с тех пор переходят от поколения к поколению без всяких перемен. Чудно думают те, которые отвергают древность нашей народной поэзии. Бросим, например, взгляд на географию и этнографию этих песен. Странное смешение мы здесь видим: Иерусалим, Золотая Орда, Греция, заморские страны, чудь, латины, люторы (то есть лютеране) и татары, и наконец такие народы, которые вовсе не существовали. Отчего такие анахронизмы? Оттого, что эти песни составлялись в продолжение столетий. Каждый из периодов народной истории клал на них свои отпечатки, и все это слилось в пеструю массу. Так например, песня «Дунай сын Иванович» заключает предание мифологическое; это обломки стародавней дохристианской поэзии. Сражение Ильи Муромца с сыном Збутом Королевичем напоминает старый немецкий народный памятник — песню Гильдебрантов [133]; летание по воздуху еретика Тугарина — сцены из неистового Орланда [134]. Соловей Будимирович указывает на торговое сношение с греками и величие старого Киева. Михайло Казаринов имеет поразительное сходство с позднейшими южнорусскими памятниками. Как, например, похожи восклицания русской девушки, плененной татарами:

Горе горькое, моя руса коса!
А вечер тебя матушка расчесывала,
Расчесывала матушка родимая; **/126/**
Расплетать будет моя руса коса,

А трем татарам-наездникам.
(«Древ[ние] рус[ские] стих[отворения]», стр. 68).

Ей Боже ж мій, косо моя!
Косо моя жовтенькая!
Не матка тя розчесує:
Фірман бичем розтріпує.
(Жег. Паул., т. I, стр. 170).

Объяснение Казаринова с сестрою напоминает также одно место из малорусских песен (Жег. Паул., т. I, стр. 169). Явно, что песня относится ко временам татарского владычества, а между тем в ней является Владимир-князь. Да, эпоха его мерцала среди настоящего горя и рабства, как памятник былого счастья. Народ привык тешить воображение этим именем, он поставил его центром своего поэтического мира: и старинные чудные сказки, и события настоящего века, и неясные слухи, доходившие издалека, все, что занимало его, столпилось около Владимира. В нем он видел идеал доброго государя, в богатырях — идеал молодечества и удали, в его эпохе — золотой век. Конечно, Владимир, богатыри, змеи, калеки перехожие перешли к нам исстари, но они изменяли столько раз свои черты, столько раз пересоставлялись, переделывались, и каждое преобразование оставляло в них свою память, что могут служить для нас зеркалом народной жизни не какого-нибудь одного периода времени, хотя бы и очень важного, а целых веков. Песни эти имеют для историка значение обширное, но только при известных условиях. Надобно сначала употребить самый строгий труд, чтоб показать, откуда, что и как, и почему, и когда. Для этого нужны глубокая ученость, разнообразные сведения, неутомимое трудолюбие, а более всего добросовестность, без которой всякий ученый труд остается не только без пользы, но даже со вредом. Тогда каждое лицо богатыря, каждое, по-видимому, бессмысленное имя что-нибудь указало бы историку. До сих пор эти песни так, как они теперь напечатаны в сборниках, столько же помогут ему, сколько помогли неизъяснимые гиероглифы на старинных камнях историкам-археологам.

Второй цикл великорусской исторической поэзии заключает в себе те песни, на которых виден колорит новгородский. Некоторые из них отличаются характером чудесности, но все вообще различны от поэм Владимира по духу того общества, какое в них описывается. Здесь действующее лицо богатырь, но этот богатырь живет в республике; для удальства новгородского нужно товарищество, а для удальства киевского нужен приказ. В этом цикле заключаются песни о подвигах Васьки Буслаева. Описания его шалостей, несмотря на массивность, **/127/** указывают на тот удалой новгородский дух, который нередко был причиною, что кровь двух неприязненных сторон лилась на волховском мосту. Уважение Василия к матери, характер старухи отзываются старославянскою семейственностью. Путешествие Василия в Иерусалим напоминает те паломники, которые были так часты у новгородцев. В этой поэме мы можем видеть и узнать элемент сказочный в образах повествования, где являются котлы вина, выпиваемые героями, таинственная надпись на дороге, голова богатырская, предсказывающая опасность удальцу, но в основной идее поэмы, в духе, который разлит в ней, видим общество существовавшее, мир исторический. К этому циклу принадлежит рассказ о Госте Терентище, где описывается неверность и изменчивость жены и наказание, какое дал ей муж: понятие старое, перешедшее от дедов, что видели мы в думах владимирских, которые мы можем проверить другими письменными памятниками, например, «Словом» Даниила Заточника [135], понятие, которое мы найдем и в позднейших народных песнях, например, в семейных малорусских. Но в этом рассказе виден дух новгородского товарищества: друзья Терентища собираются вместе проучить жену его. Это братство, начало русской артельщины, могло образоваться только там, где вечевой колокол созывал граждан для взаимных толков, в том обществе, где каждый говорил «мы» и делился

своими побуждениями с другими. Всех полнее и отчетливее из новгородских поэм представляется нам повесть об Акундине Акундиновиче, помещенная в издании сказок Сахарова («Рус. сказ.», стр. 94 — 154). Она относится ко временам порабощения России татарами. Среди всеобщего унижения горделиво поднимает голову свободный Великий Новгород, связанный кровными узами с бедными своими братьями и готовый простирать им руку помощи. Татарская сила изображается в символическом образе сказочного змея, который облегает еретическою ратью города, грабит жителей, берет с них дань красными девицами. Долговременное рабство приучает к двудушию и низости; таким является дьяк рязанский. Новгородец не чувствует рабства и потому благороден и честен: таков Акундин Акундинович. Это лицо историческое: «Ходил он, Акундин, со повольницей и гулял он, Акундин, по Волге, по реке на суденышках». Это один из тех удалых детей вольного города, которые так отличались в XIV веке. Далее приезжает он к Рязани и говорит: «А кабы ту широку сторону Рязань и с молодым князем Глебом Олеговичем и со всеми его исконными слугами покорить Новгороду». Действительно, в эпоху величия Новгорода дух вольного народа клонился к тому, чтобы распространять пределы новгородские. Замятия Путятич, дядя Акундина, который **/128/** провожает богатыря инкогнито в виде калечища, говорит ему в ответ: «Не корыстна сторона для Новгорода! Кабы Рязань не полонили злы татарове, кабы Рязань не обложили данью великою, — постояла бы Рязань за себя, да и Рязань то не чета Новгороду». Здесь опять видим современные понятия. Колонизация новгородская простиралась преимущественно на страны, чуждые русского элемента; несмотря на свою гражданскую гордость, новгородцы уважали права других русских собратий и признавали родственную связь с другими городами, ставя себя только лучше всех. Подвиги Акундина Акундиновича отличаются бескорыстием и благородством. Весь рассказ проникнут духом особенного романтизма, свойственного только русскому элементу.

Третий цикл составляют песни позднейшего периода — Московского царства. Эти песни имеют своим отличительным характером самодержавие. Здесь главное лицо — государь, идея народной жизни — служба царю, с именем которого соединялось нераздельно имя отечества. Мы не имеем памятников этого периода древнее эпохи Иоанна Грозного. Песня о взятии Казани — первая в ряду их: происшествие, недаром рассказанное в наших летописях с такою подробностью. В нем участвовал народ мыслию и делом. В обозрении исторической малорусской поэзии мы заметили, что история Гетманщины обширно заключалась в народной поэзии. На поэзию великорусскую нельзя смотреть одинаковыми глазами, потому что народ великорусский иначе жил, иначе действовал. Событие важно было для него только посредственно или же тогда, когда обстоятельства заставляли народ волею-неволею являться на поприще самодеятельности. Мы не будем ожидать здесь полноты, какой требовали от поэзии малорусской, и всегда должны встречать анахронизмы. Но и самые бедные отрывки (чего нельзя сказать об исторических песнях великорусских), и самые неверности важны для нас в том отношении, что показывают взгляд народа на свою историческую жизнь. Судьба отечества была в руках царя, следовательно, все, что касалось личности царя, касалось вместе с тем и народа. И вот, например, как изобразил народ в своих песнях эпоху тирании Иоанна Грозного. В песне о смерти царевича происшествие рассказано с анахронизмами, но в ней видны те идеи, какие воспринял народ о происшествии. Малюта Скуратов [136] есть идеал злого боярина, искусителя царской власти. Никита Романов [137] — идеал доброго аристократа, поддерживающего и честь престола и счастье народа. Эпоха грозного времени самозванцев, смуты, обуревавшие Россию, отразились в исторических песнях с большею верностью; примером может служить песня о Скопине-Шуйском [138] (Сахар., **/129/** стр. 253, Ист. пес, № 3). Прочие исторические песни есть военные и, вероятно, перешли в народ от тех лиц, которые участвовали в действии.

В четвертом цикле заключаются исторические песни донских казаков. Развитие идеи товарищества, удалая жизнь, полная деятельности, благоприятствовали здесь народной

поэзии: она и вернее, и полнее. Рассказы о событиях могут служить пояснениями для историка. Важнейшее место занимают в них подвиги Ермака [139], покорение Сибири. Далее воспеваются войны с турками и смутные времена Дона, например, возмущение Стеньки Разина [140] и Некрасова [141]. Исторические рассказы проникнуты чувством патриотизма и братства.

Пятый цикл составляют те песни солдатские, в которых описываются воинские походы позднейших времен. Эти песни важны, но еще не изданы так, как бы следовало.

ГЛАВА IV

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Б. Великорусская историческая народная поэзия

Выше замечено, что историческая великорусская поэзия касается гораздо отдаленнейшего времени, чем малорусская, именно: первого периода нашей истории. Такие памятники седой старины составляют в ней особенный цикл. Характер его — неопределенность, сбивчивость, чудесность и символизм, и потому мы не без основания назовем его полуисторическим, полубаснословным. В этом цикле заключаются те полупесни и полусказки, те народные поэмы, которые некогда были изданы под названием «Древние русские стихотворения» и из которых Сахаров, исключив многие, поместил некоторые в свой сборник, убедившись сам в их неподложности, под именем «Былин старого времени»: название не совсем сообразное, потому что слово «былина» предполагает верность, определенность, чего в них нет. Большая часть этих поэм имеет между собою связь так, как будто бы она относилась к известному периоду, именно к эпохе Владимира, князя Красного Солнышка. Что это за Владимир? Это типическое лицо властелина. Он живет в Киеве, задает веселые пиры, на которых пьют чары в полтора ведра, едят белых лебедей и поют песни под гусли. Он государь самовластный, имеет право миловать и казнить, но не употребляет его ни на доброе, ни на худое. Это какой-то восточный Сарданапал [132], бездейственный, ленивый, он только «ест, пьет, прохлаждается, ничьих челобитных не слушает» («Др[евние] р[усские] стих[отворения]», изд. 1, стр. 119). Все наперерыв стараются развеселить князя. Он выдумывает разные игры, женит своих богатырей, и все это для того, чтоб удвоить свои веселости. У него жена княгиня Апраксеевна, которую привез ему Дунай сын Иванович из баснословного царства. Эта княгиня поведения очень предосудительного и до того пользуется добротою или, лучше сказать, опьянелостью мужа, что при глазах его амурится с уродами. Вокруг «ласкового осударя» собраны князья, бояре, **/125/** богатыри. Владимир посылает их стрелять птиц: такая охота обыкновенно кончится свадьбою с девушкою, заклятою в птицу. Но нередко богатыри отбивают врагов от Киева и отправляются в далекие страны покорять власти князя чужие народы и добывать себе невест. Замечательно, что знаменитейшие богатыри приезжают в Киев из чужих стран. Добрыня Никитич прибыл из Новгорода, Илья Муромец — из Мурома, Алеша Попович — из Ростова, Михайло Казаринов — из Галича Волынского, Соловей Будимирович — из Леденца (?). Подвиги их чудесны и отличаются

особенной массивностью. Богатырь носит «шелепугу», налитую свинцом в 70 пуд [ов]; ударят его в голову железом, он только кудрями потряхивает; конь его пробегает по пяти верст в скок. Типический характер врагов их, напр., Змея Горынича, Тугарина Змеевича, еще менее человеческого. Женщина рисуется с самой дурной стороны. Это существо бездушное, непостоянное, легкомысленное, только жена Ставра Боярина не подходит под обыкновенный тип.

К какому времени относятся эти песни? Когда появились, о чем в самом деле поют они? Без успеха эти вопросы занимали умы наших этнографов. Странно предположить, будто бы в самом деле они прямо описывают времена Владимира, сочинены при нем и с тех пор переходят от поколения к поколению без всяких перемен. Чудно думают те, которые отвергают древность нашей народной поэзии. Бросим, например, взгляд на географию и этнографию этих песен. Странное смешение мы здесь видим: Иерусалим, Золотая Орда, Греция, заморские страны, чудь, латины, люторы (то есть лютеране) и татары, и наконец такие народы, которые вовсе не существовали. Отчего такие анахронизмы? Оттого, что эти песни составлялись в продолжение столетий. Каждый из периодов народной истории клал на них свои отпечатки, и все это слилось в пеструю массу. Так например, песня «Дунай сын Иванович» заключает предание мифологическое; это обломки стародавней дохристианской поэзии. Сражение Ильи Муромца с сыном Збутом Королевичем напоминает старый немецкий народный памятник — песню Гильдебрантов [133]; летание по воздуху еретика Тугарина — сцены из неистового Орланда [134]. Соловей Будимирович указывает на торговое сношение с греками и величие старого Киева. Михайло Казаринов имеет поразительное сходство с позднейшими южнорусскими памятниками. Как, например, похожи восклицания русской девушки, плененной татарами:

Горе горькое, моя руса коса!
А вечер тебя матушка расчесывала,
Расчесывала матушка родимая; **/126/**
Расплетать будет моя руса коса,
А трем татарам-наездникам.
(«Древ[ние] рус[ские] стих[отворения]», стр. 68).

Ей Боже ж мій, косо моя!
Косо моя жовтенькая!
Не матка тя розчесує:
Фірман бичем розтріпує.
(Жег. Паул., т. I, стр. 170).

Объяснение Казаринова с сестрою напоминает также одно место из малорусских песен (Жег. Паул., т. I, стр. 169). Явно, что песня относится ко временам татарского владычества, а между тем в ней является Владимир-князь. Да, эпоха его мерцала среди настоящего горя и рабства, как памятник былого счастья. Народ привык тешить воображение этим именем, он поставил его центром своего поэтического мира: и старинные чудные сказки, и события настоящего века, и неясные слухи, доходившие издалека, все, что занимало его, столпилось около Владимира. В нем он видел идеал доброго государя, в богатырях — идеал молодечества и удали, в его эпохе — золотой век. Конечно, Владимир, богатыри, змеи, калеки перехожие перешли к нам исстари, но они изменяли столько раз свои черты, столько раз пересоставлялись, переделывались, и каждое преобразование оставляло в них свою память, что могут служить для нас зеркалом народной жизни не какого-нибудь одного периода времени, хотя бы и очень важного, а целых веков. Песни эти имеют для историка значение обширное, но только при известных условиях. Надобно сначала употребить самый строгий труд, чтоб показать, откуда, что и как, и почему, и когда. Для этого нужны глубокая ученость, разнообразные сведения,

неутомимое трудолюбие, а более всего добросовестность, без которой всякий ученый труд остается не только без пользы, но даже со вредом. Тогда каждое лицо богатыря, каждое, по-видимому, бессмысленное имя что-нибудь указало бы историку. До сих пор эти песни так, как они теперь напечатаны в сборниках, столько же помогут ему, сколько помогли неизъяснимые гиероглифы на старинных камнях историкам-археологам.

Второй цикл великорусской исторической поэзии заключает в себе те песни, на которых виден колорит новгородский. Некоторые из них отличаются характером чудесности, но все вообще различны от поэм Владимира по духу того общества, какое в них описывается. Здесь действующее лицо богатырь, но этот богатырь живет в республике; для удальства новгородского нужно товарищество, а для удальства киевского нужен приказ. В этом цикле заключаются песни о подвигах Васьки Буслаева. Описания его шалостей, несмотря на массивность, **/127/** указывают на тот удалой новгородский дух, который нередко был причиною, что кровь двух неприязненных сторон лилась на волховском мосту. Уважение Василия к матери, характер старухи отзываются старославянскою семейственностью. Путешествие Василия в Иерусалим напоминает те паломники, которые были так часты у новгородцев. В этой поэме мы можем видеть и узнать элемент сказочный в образах повествования, где являются котлы вина, выпиваемые героями, таинственная надпись на дороге, голова богатырская, предсказывающая опасность удальцу, но в основной идее поэмы, в духе, который разлит в ней, видим общество существовавшее, мир исторический. К этому циклу принадлежит рассказ о Госте Терентище, где описывается неверность и изменчивость жены и наказание, какое дал ей муж: понятие старое, перешедшее от дедов, что видели мы в думах владимирских, которые мы можем проверить другими письменными памятниками, например, «Словом» Даниила Заточника [135], понятие, которое мы найдем и в позднейших народных песнях, например, в семейных малорусских. Но в этом рассказе виден дух новгородского товарищества: друзья Терентища собираются вместе проучить жену его. Это братство, начало русской артельщины, могло образоваться только там, где вечевой колокол созывал граждан для взаимных толков, в том обществе, где каждый говорил «мы» и делился своими побуждениями с другими. Всех полнее и отчетливее из новгородских поэм представляется нам повесть об Акундине Акундиновиче, помещенная в издании сказок Сахарова («Рус. сказ.», стр. 94 — 154). Она относится ко временам порабощения России татарами. Среди всеобщего унижения горделиво поднимает голову свободный Великий Новгород, связанный кровными узами с бедными своими братьями и готовый простирать им руку помощи. Татарская сила изображается в символическом образе сказочного змея, который облегает еретическою ратью города, грабит жителей, берет с них дань красными девицами. Долговременное рабство приучает к двудушию и низости; таким является дьяк рязанский. Новгородец не чувствует рабства и потому благороден и честен: таков Акундин Акундинович. Это лицо историческое: «Ходил он, Акундин, со повольницей и гулял он, Акундин, по Волге, по реке на суденышках». Это один из тех удалых детей вольного города, которые так отличались в XIV веке. Далее приезжает он к Рязани и говорит: «А кабы ту широку сторону Рязань и с молодым князем Глебом Олеговичем и со всеми его исконными слугами покорить Новгороду». Действительно, в эпоху величия Новгорода дух вольного народа клонился к тому, чтобы распространять пределы новгородские. Замятия Путятич, дядя Акундина, который **/128/** провожает богатыря инкогнито в виде калечища, говорит ему в ответ: «Не корыстна сторона для Новгорода! Кабы Рязань не полонили злы татарове, кабы Рязань не обложили данью великою, — постояла бы Рязань за себя, да и Рязань то не чета Новгороду». Здесь опять видим современные понятия. Колонизация новгородская простиралась преимущественно на страны, чуждые русского элемента; несмотря на свою гражданскую гордость, новгородцы уважали права других русских собратий и признавали родственную связь с другими городами, ставя себя только лучше всех. Подвиги Акундина Акундиновича отличаются

бескорыстием и благородством. Весь рассказ проникнут духом особенного романтизма, свойственного только русскому элементу.

Третий цикл составляют песни позднейшего периода — Московского царства. Эти песни имеют своим отличительным характером самодержавие. Здесь главное лицо — государь, идея народной жизни — служба царю, с именем которого соединялось нераздельно имя отечества. Мы не имеем памятников этого периода древнее эпохи Иоанна Грозного. Песня о взятии Казани — первая в ряду их: происшествие, недаром рассказанное в наших летописях с такою подробностью. В нем участвовал народ мыслию и делом. В обозрении исторической малорусской поэзии мы заметили, что история Гетманщины обширно заключалась в народной поэзии. На поэзию великорусскую нельзя смотреть одинаковыми глазами, потому что народ великорусский иначе жил, иначе действовал. Событие важно было для него только посредственно или же тогда, когда обстоятельства заставляли народ волею-неволею являться на поприще самодеятельности. Мы не будем ожидать здесь полноты, какой требовали от поэзии малорусской, и всегда должны встречать анахронизмы. Но и самые бедные отрывки (чего нельзя сказать об исторических песнях великорусских), и самые неверности важны для нас в том отношении, что показывают взгляд народа на свою историческую жизнь. Судьба отечества была в руках царя, следовательно, все, что касалось личности царя, касалось вместе с тем и народа. И вот, например, как изобразил народ в своих песнях эпоху тирании Иоанна Грозного. В песне о смерти царевича происшествие рассказано с анахронизмами, но в ней видны те идеи, какие воспринял народ о происшествии. Малюта Скуратов [136] есть идеал злого боярина, искусителя царской власти. Никита Романов [137] — идеал доброго аристократа, поддерживающего и честь престола и счастье народа. Эпоха грозного времени самозванцев, смуты, обуревавшие Россию, отразились в исторических песнях с большею верностью; примером может служить песня о Скопине-Шуйском [138] (Сахар., **/129/** стр. 253, Ист. пес, № 3). Прочие исторические песни есть военные и, вероятно, перешли в народ от тех лиц, которые участвовали в действии.

В четвертом цикле заключаются исторические песни донских казаков. Развитие идеи товарищества, удалая жизнь, полная деятельности, благоприятствовали здесь народной поэзии: она и вернее, и полнее. Рассказы о событиях могут служить пояснениями для историка. Важнейшее место занимают в них подвиги Ермака [139], покорение Сибири. Далее воспеваются войны с турками и смутные времена Дона, например, возмущение Стеньки Разина [140] и Некрасова [141]. Исторические рассказы проникнуты чувством патриотизма и братства.

Пятый цикл составляют те песни солдатские, в которых описываются воинские походы позднейших времен. Эти песни важны, но еще не изданы так, как бы следовало.

ГЛАВА V

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

А. Общественная жизнь малорусов

Рассматривая формы, в каких являлась жизнь малорусского народа, мы увидим два главные вида ее. В XVI веке Малороссия воспрянула от долгого летаргического сна, народ ее зажил шумною, бурною, военною деятельностью — образовалось казачество. Потом мало-помалу эта воинственность стала упадать, народ низошел на степень тихой гражданской жизни. Таким образом, главные типы народной общественной жизни малорусов есть: казак и поселянин. Переход от одного к другому оставил средние типы между тем и другим, как мы увидим впоследствии.

I. *Казак*. В обозрении исторической жизни мы видели, как народ понимал Гетманщину. Теперь надлежит рассмотреть, каким сам народ был во время Гетманщины. Итак, рассмотрим: из каких элементов образовался казацкий характер.

Первый элемент казацкого характера была «віра». Религиозное чувство проглядывает резко в его побуждениях и действиях. Казак отправляется в поход, «помолившись Богові», едет на коне, «Богові молитви посилаючи, хрести покладаючи», предает себя в его святую волю на войне, уверенный в том, что «Бог знає, що починає», что Богу известно, «вернеться» ли он «додому» или «загине в полі», а его дело — «Богові молиться, Спасителю хреститься». Содействию Божьей благодати приписывает он свои удачи; наказанию за грехи — свои бедствия. Так в песне о морском походе Серпяги по всеобщей молитве казаков утихает буря и «тяжко» разбивается сила нехристей. Так Ивась Коновченко, совершив с молитвою несколько подвигов, пьяный выехал «на герець» и погиб. Идея об религии соединяется у казака с идеею об родине. Вместо «города русские» он привык употреблять выражение «городи християнські», «земля християнська» называется у него отечество; народ русский носит почетное наименование «народа хрещеного, святоруського». Подобно и к врагам своим питает **/131/** он ненависть религиозную: пленник, томясь на галере турецкой, восклицает:

Ти, земле турецька!
Віра бусурманська!
Розлука християнська!

И самое заключение в чужой земле страшнее становится для казака потому, что «ні з ким об вірі християнській поговорити». И если казаку бывает «і усім гаразд під турчином жити», но все «не гаразд за невіру служити».

Прекрасно представлена твердость казака в вере в думе о «Самойле Кушке». Ренегат лях упрашивает его, как жена Иова, сказать дурное о Боге — «поломнути хрест на собі»: кошевой отвергает с негодованием такое предложение, несмотря на то, что пятьдесят четыре года изнывает в неволе.

Второй элемент казацкого характера — любовь к родине. Из обзора исторической жизни южнорусского народа видели мы, что казачество было органом возрождения Южной Руси, а следовательно, посредством казаков совершались все политические перевороты в Украине. Разбирая казака как тип общественной жизни, нам остается указать на те пункты, где он является особенно представителем народных интересов, и потом показать способ проявления его любви к родине.

Еще в XVI веке имя казака было близко к сердцу каждого южноруса. Смерть гетмана Свирговского возбуждает во всех живое участие: «Вся Україна сумувала, свого гетьмана оплакала». За убитым Серпягою «по всій Україні помин відправляли». Но гораздо полнее

обрисовывается участие народа к казаку в тех песнях, которые пелись после того, как казаки «обібрались за Вкраїну стати», где Украина изображается бедною вдовицею, а Наливайко, с своими «завзятими» братьями-казаками, — ее сыновьями, когда казаки сбирались в городе Батурине «раду радити, як Україну єднати». С тех пор поход казацкий предпринимался с целью «Вкраїну щитити»; подвиг казака был данью родине; о смерти казака «Україна плаче». Занимая такое важное место в судьбе Украины, казацкое общество заключало в себе членов, проникнутых пламенною любовью к родине. Особенно красуется она там, где дело идет о разлуке казака с родиною и житье «на чужині»:

Іде козак з України — тяженько вздихає;
или
Іде козак на чужину — як лихо зогнувся...

Расставаясь «з родом хорошим», казак «на всі сторони одклониться», возьмет горсть сырой земли, привяжет к кресту, сядет на коня и словно «явор», который «в воду нахилився», клонит свою «головоньку к оріховому сіделечку», а **/132/** сердце его «ниє», как корень, подмытый волною; а очи плачут против воли:

Ой, не плачте ви, карії очі,
Од роду мандруючи.
Заплачте ви, карі очі,
На чужині горюючи.

Вот казак «на чужині», медленно тащится верный «кінь» его, на «круту гору йдучи; сумно» развертываются пред взором «краї далекі, степи широкі». «Куди він не гляне — усе чужина», каждый предмет «завдає» ему «жалю». Жаждет его взор обратиться к родине, «подивиться на свою Україну» — некому даже передать ей поклона. «Ходить-блудить козаченко по дорозі; під ним вороненький коник нудить». Казак просит буйного ветра «повіяти з роду родиноньки», но и «вітер не віє», только голос его «переходить зеленою дібровою»; всполохнулись пробужденные птицы: казак «наказує поклон родині чорненькою галкою», но птица летит, а вести нет «з України». Казак желает хоть с кем-нибудь поделиться своим горем — вот кукует «зозуленька»:

Зозуленько! Моя ненько!
Закуй же ти жалібненько!
Буде жаль мому серденьку!

вот засвистал соловей:

Соловейко малесенький!
В тебе голос тонесенький!
Защебечи ти мені,
Що я в чужій стороні!

Казак на чужине, словно «сокол», который «полетів з лісу на поле, з поля на гору», оттуда он сядет на «високій сосні», но нигде ему нет пристанища — «вітер повіває, сосонку хитає»... Сокол говорит к ней:

Не хилися, сосно!
Мені жити тошно!

«Злетів» сокол с сосны, «полетів с туги у луги», пал «на червону калину: калину зобає». Спрашивает брат его «орел сизокрилий»: какова калина? «Такая, брате, як отся калина гіркая, сторона чужая!»

Горька для него смерть в чужой стороне:
Не дай, Боже, смерті, на чужині вмерти!
Ніхто не посумує об твоєї смерті!
Нема кому дати
До неньки знати,
Щоб прийшла ненька
Сина поховати.

И обыкновенно «козацькая головонька загибає на чужині без отця, без матусеньки, без рідної родини». Лежит молодец «убитий, почорнілий, без труни і без ями; нікому задзвонити, нікому затужити: чорний ворон пролітає, очі йому випиває!» **/133/** Но случается, что одна печаль, «як стріла», ударившая «з високого неба», убивает казака; и последним его завещанием будет желание, чтоб ему «в головоньках» посадили «червону калину»:

Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти,
Будуть мені приносити від родоньку вісті.
(Макс. изд. 1, стр. 3).

Эта горячая, детская любовь не есть следствие слабости и женственности характера. Она одолевает самую крепкую казацкую натуру. Морозенко выехал под Бендеры, «опустив свою головоньку коню на гривоньку» потому, что здесь — «чужая сторононька». Нечай, который валял ляхов, «як солому», едучи ночью по степям Галиции, поет:

Ой не шуми, луже,
Ти зелений гаю!
Не завдавай серцю жалю,
Бо я в чужім краю!
Приключилось Нечаєві
Пропадать на чужині.

Третьим элементом казацкого характера была семейственность. Вспомним, что, исключая запорожцев, которые, по словам Богдана Хмельницкого, были «люди малые», и притом только известное число их оставалось в безбрачной жизни, — все казаки жили домашнею жизнью. Некоторые польские историки, по народной ненависти представляя казаков с дурных сторон, уверяли, что казацкое общество ненавидело семейственные связи. Это клевета, которую могут опровергнуть сами поляки. Известно, что Лубенский, повествуя о разбитии Наливайко, говорит, что причиною несчастия казаков было то, что они, спасая своих жен и детей, забрали их с собою из Переяславля; и когда многие в виду мужьев и отцов умирали от голода или под польскими картечами, то это так подействовало на казаков, что они, защищаясь мужественно четырнадцать дней под Солоницею, решились наконец сдаться. В песнях народных мы видим привязанность казака ко всем членам семейства Матерняя молитва для него залог спасения, она

Зо дна моря душу виймає,
На полі помагає,
Од гріхів душу одкупляє,

До царства небесного проводжає.

Сестру он обязан «за неньку рідненьку мати», брат для него — предмет верной дружбы; вот какое обращение казака, даже запорожца, было с супругою:

Пан кошовий коника сідлає,
Його пані важенько вздихає:
«Перестань ти коника сідлати,
Перестану я важенько вздихати. **/134/**
Пане ж мій милий, пане мій любий!
Таку славоньку робиш,
Що коника сідлаєш,
Мені правдоньки не кажеш!» —
«Пані моя люба, пані моя мила!
Голубонько сива!
Поїдемо ми у путь-у-дорогу!»

А «дівчина» — невеста, лицо, столь необходимое в казацкой поэзии, что вы редко встретите песню, где бы не видно было, как казак привязан к своей «миленькій». Только вся эта любовь выказывается особенными чертами: при разлуке с милыми в те часы, когда другая, противоположная семейственному счастию, сфера войны увлекает казацкую голову. Это происходит от того, что назначение казака — война, а состояние Украины требовало беспрерывного обращения с оружием, потому что казак рождался, воспитывался, жил и умирал посреди неумолкаемого звука мечей и неугасаемого пламени пожаров; от того, что вся жизнь его была борением между призванием к гражданственности и миру и призванием к брани. Казак жил, так сказать, в беспрестанном саморазделении: сердце влекло его к семейству и домашним занятиям, долг принуждал выходить в степную даль; казак полюбил свой долг. Беспрестанные брани, товарищество закалили его до того, что в опасностях и лишениях он начал видеть удовольствия; в нем образовалась борьба: с одной стороны мать, супруга, любовь, родители, с другой — конь, товарищи, слава. Идея веры и любви к родине не изглаживалась в душе его, но соединялась с идеею войны. Вера была святою для него, как для защитника веры; быть христианином по его понятиям значило бить нехристей и «християнську віру щитити». Любовь к родине выказывалась в нем необходимостью поражать врагов ее. Так точно и семейственные связи стали для него драгоценны по краткости, когда казак готов был разорвать их ежеминутно и может быть навеки. «Оставайся, мати, здорова, не сподівайся сина ніколи» — говорит он, отъезжая, своей матери. Вот отчего такая раздирающая грусть проникает казацкие песни, как удачно заметил Гоголь [142].

В короткое мирное время казак не стыдился заниматься земледелием, торговлею, варением пива и курением вина; сабля его висела преспокойно в светлице; он разделял наслаждение с молодою подругою, престарелыми родителями, которые не могли не нарадоваться, глядя на дорогое дитя. Так жил казак и полгода, и год, но едва наступали татары или надобно было отплатить им визит в Крым, или плыть по морю для освобождения христианских пленников из приморских турецких городов, тогда какой-нибудь полковник и рассылает по городам и селам есаулов с воззванием: **/135/**

Гей ви, грубники, ви, лазники,
Ви, броварники, ви, винники!
Годі вам у винницях горілок курити,
По броварнях пив варити,
По лазнях лазень топити,
По грубах валятися,

Товстим видом мух годувати,
Сажі витирати,
Ходіте за нами на долину Черкень погуляти.
(Малор. и черв. думы и песни, стр. 31).

После такого вызова казака не удержишь дома, он не останется

по ріллі спотикати,
За плугом спини ламати,
Жовтого саф'яну каляти,
Червоного єдаману [143] пилом набивати.
(Там же, стр. 37).

В противном случае остроумное товарищество приложит ему такое название, что стыдно будет и в люди показаться; его станут величать «гречкосієм, домонтарем [144], полежаєм [145]», — нет, он пойдет

Слави рицарства достати,
За віру християнську одностойно стати! (Там же).

Напрасно старая мать припадает к груди сына, умоляет остаться, представляя близость своей кончины, как некогда Ольга Святославу [146]. Казак, «як орел»: ему крыльев не свяжешь. Пусть даже она клянет его: он заплачет, как дитя, но не останется, хоть с твердою уверенностью, что ему погибнуть без материнского благословения. Пусть она запрячет от него оружие, спровадит куда-нибудь коня, казак таки возьмет свое; мать отправится в церковь, а сын сейчас за ключи, а не то — замок отобьет и, если нет коня, «пішки» махнет «до обозу». Песни, показывающие отношения казака к семейству, большею частью прощальные песни. Вот, например, казак расстается с супругою:

— Що ти, милий, думаєш-гадаєш?
Либонь мене покинути маєш!
— Почім, мила, ти догадалась,
Що ти в мене правди допиталась?
— Хіба я, милий, із іншого краю,
Що я твого звичаю не знаю!
У коморю ступиш — сідельця шукаєш,
У станочок війдеш — коня напуваєш,
Зеленого сіна підкладаєш,
Жовтенького вівса підсипаєш,
В хату війдеш — нагайки питаєш,
Мале дитя ногою колишеш,
Все на мене важким духом дишеш...

Вот другая песня: здесь он расстается с двумя милыми существами — матерью и женою: **/136/**

Засвистали козаченьки в поход з полуночі,
Заплакала Марусенька свої ясні очі.
— Не плач, не плач, Марусенько! Не плач, не журися,
За свойого миленького Богу помолися.
Стоїть місяць над горою,
Да сонця немає,

Мати сина в дороженьку слізно проводжає:
— Прощай, милий мій синочку,
Да не забавляйся!
Чрез чотири неділеньки додому вертайся!
— Ой рад би я, матусенько, скоріше вернуться,
Да вже щось мій вороненький в воротах спіткнувся!
Ой Бог знає, коли вернусь, в якую годину!
Прийми ж мою Марусеньку, як рідну дитину.
Прийми її, матусенько! Всі в Божої волі,
Бо хто знає — чи жив вернусь, чи ляжу на полі?
(Макс, т. I, стр. 24-25).

Из этой песни мы можем заключить, что казака вызывала к боевой жизни потребность и долг, что семейство было для него драгоценнее всего, что, наконец, религиозное чувство было его утешением в тяжелой разлуке.

Песни, описывающие разлуку казака с дивчиною, — лучшие перлы в украинской поэзии и отличаются поэтическими картинами и глубоким чувством. Любовь казака пламенна, сильна, но коротки ее наслаждения. Чуть только успела влюбленная чета обменяться взаимными клятвами, как вдруг:

Розвивайся, сухий дубе,
Завтра мороз буде!
Убирайся, козаченьку,
Завтра поход буде.

Казак, которому так же тяжело идти в поход, как «устилатися листом дубу по морозу», решительно говорит:

Я походу не боюся,
Вранці уберуся,
Таки з своєю дівчиною
Та попрощаюся!

Уезжая из дому, просит друзей и родных «приливать йому дороженьку, щоб не пилилася, і розважать дівчиноньку, щоб з личенька не спала». Она дала ему заветный предмет, на который взглянувши, он вспомнит драгоценные минуты прощания:

Дала мені хустиноньку
Сідельце вкривати.
Ой як гляну на сідельце —
Втішу своє серце.
Ой як гляну на хустину —
Згадаю дівчину.

Иногда прощальные песни проникнуты мрачностью и безнадежностью. Так в одной песне казак на вопрос своей любезной: «Коли тебе, серденько, додомоньку ждати», отвечает: **/137/**

Тоді мене, мила, ждати,
Як стане по степу вітер повівати,
Ковилу та комиш по степу розсипати!
Як стане по Дніпру хмара походжати,

Старий Дніпр дощем полоскати, —
Тоді мене, моя мила, ждати-підждати.
Як стане по небу грім грімотати
Та стане блискавками небо засипати, —
Тоді мене, моя мила, ждати-підждати.
Та принесе мене не мій вороний,
Та принесе мої кості вітер буйний.
Тоді питай вітра буйного:
«А де подівався молодий козак?»
А вітер буйний ув отвіт просвистать:
«Ой лежав козак убитий
Та у полі під рокитою!
Та побачив я, що він на чужій стороні,
Та й приніс козакові кості у рідний край!»

Такая раздирающая безнадежность оправдывается в казацкой жизни. Мало таких песен, где бы описывалось счастливое возвращение к родным. Чаще всего мать, завидя издали пыль от идущих казаков, выбегает с «донькою» навстречу милому сыну, но встречает возок, покрытый

Червоною китайкою,
Заслугою козацькою!
А в тім возку біле тіло,
Порубане, почорніле.
За тим возком кінь лицарський.

«А чи не бачили мого сина-сокола?» — спросит старушка. «Чи не то твій син, що сім полків збив, за осьмим головку схилив», — скажут казаки; и мать ударится «крижем об сирую землю», а потом с спартанскою твердостью, утешаемая рассказами казаков о храбрости ее детища, «закликає» их в свой дом:

Оттепера, козаки, панове-молодці, пийте і гуляйте,
Разом і похорон, і весілля одправляйте.

Как ни горька была казаку разлука с семейством, но случались минуты, когда ему надоедали семейственные связи и он готов был менять тихую любовь на жизнь боевую:

Не для того стара мати, щоб її поважати,
Не для того бідна дівка, щоб її кохати.
Ой як треба поважати, то я знаю, за що,
Та й не отця, та й не маму, не сестру, не брата.
Ой у мене є коняка та й гарний коняка,
Та який він волоцюга, який розбишака!
Ой я того та коняку поважати буду,
За його би не взяв срібла, хоч повную груду!
Єсть у мене та при боці та шабелька гарна,
Спитай її, спитай її, чим вона не панна?
(Макс, стр. 143). **/138/**

Вот куда завлекла казака охота к браням, привычка встречать смерть на каждом шагу! Уже он не только укоряет своих собратий в занятиях мирными трудами, не только

осыпает их насмешками, — он дерзко разрывает самые священнейшие связи жизни, меняя мать, сестру, брата на коня и любовницу — на саблю.

Четвертым элементом казацкой жизни было товарищество. Всякий из удалых детей Украины, покидая милых сердцу, искал замены в товарищах. Братство и единодушие — первый залог военного общества. В песнях казаки называются «брати і товариші»; у них «однакові думки, усі вони в одного вдалися» и защищают Украину «одностойно». Утехи и горести разделяют они вместе. Гуляет отважный «лицар» в кругу товарищей, горелка льется рекою; он пьет за здоровье братьев, они взаимно осушают чарки за него. Казак забывает на ту пору и горести и радости, остается с одним чувством дружеской любви. Гулянка — одна из самых блестящих картин шумной рыцарской жизни. В ней казак поставляет для себя славу:

Слава наша козацькая
Хай не загибає,
Що в гулянці доля наша
І нужди не знає!

Здесь является вся доброта души пламенного казака, вся живость его, все забвение горестей для одной минуты, терпение при ударах судьбы:

Бодай наше поберіже,
Хоч нагайка плечі зріже,
Козак на те не заплаче,
Гукне-крикне, грає-скаче!

и презрение житейскими заботами:

Трясця тому, хто ся бідить,
Хто єно над грішми сидить.
Не з радощі, але з біди,
Тну голубця, йду в присіди;

и молодечество казака, его пластическая красота:

Сам утворний, волос чорний
І лицем хороший;

и братское единодушие, одушевляющее беседу:

Нуте, нуте, запорожці,
Нуте, погуляйте.
Одні скачте, другі грайте,
А треті співайте!

и национальное достоинство:

Нехай знають, що гуляють
З молодцями козаки!

— восклицает удалой юнак, гордый тем, что он

...козак з України,

Козак з роду, козак з міни, /139/

и готов последние минуты посвятить буйному веселью: казак пред битвою в глазах неприятеля предавался гулянке. Так, Морозенко «став пити й гуляти», когда его стали «турки й ляхи кругом оступати».

Товарищи казака в пирушке не оставляют его в беде и в час смерти. Они его «розважають», если увидят, что он «сивою голубкою голову свою закинув». Они при смерти спешат закрыть ему глаза. Смерть казака в кругу товарищей — обыкновенная картина в малорусской поэзии. Есть что-то истинно рыцарское, возвышенное в этих описаниях. Товарищи провожают своего брата из земной жизни стрельбою из пушек и «семип'ядних піщалей»; над умирающим раздаются военные песни — он «оддає Богу душу» при звуках «сурм». Он наказывает поклониться «матусеньці» или «дівчині», дарит есаулу сбрую, а «сотникові» коня. «Гострими шаблями» копают ему могилу, часто «опівночі, сумуючи за товаришем», «приполами» выносят «перст», насыпают высокий курган, оставляя его говорить «з степовим вітром» о подвигах погребенного, а на вершине кургана водружают «корогву червону, щоб знати було, де почиває лицар»; потом на могиле отправляют «помин» с песнями и стрельбою. Смерть в чужой стороне, столь горькая для малороссиянина, услаждается присутствием товарищей:

То ще добре козацька голова знала,
Що без війська козацького не вмирала.

Равенство было первым законом казацкого товарищества. Сколько бы ни выходило таборов из города, но они «всі однаки»; как бы ни знаменит был гетман и полковник, а он все-таки казак. Но власть начальников была велика и повиновение к ним подчиненных соблюдалось строго. Примерами тому могут служить песни, в которых описываются строгие наказания над ослушниками. Так напр., казак, оставивший свой полк для свидания с любовницей, говорит, что она «його навіки згубила, що рано не збудила»: уже все товарищи «коней посідлали, у полку стали»; в другой песне за небрежность казака, по которой у него «украдено коня і повода зеленого шовку», его «вкинули в темницю». Преступнику «в'яжуть» назад руки и «віддавши до суду, палками б'ють», а более важного «сажають на пал» или поднимают «на три списи, к горі». Особенно жестоко наказывалась измена: даже «круг могили» казненного «козаки сходжали, проклятія клали».

Пятый элемент казацкого характера была воинственность. Казацкое назначение было воевать, а потому война стала необходимою стихиею рыцарской жизни. Воинские подвиги изображаются в песнях разными чертами. Казацкие наезды, выправы или схватки на степях есть картины времен того мо-/140/лодечества, которое оживляет первый период истории Гетманщины. «Ні думавши, ні гадавши», встрепенется «чубатий; вітер грає оселедцем»; пронесется юнак на вороном коне «по татарських степах, по турецьких полях». Встретится с ним «сідий бородатий татарюга», сцепятся в необъятной степи два наездника. Казак «одбиває нагайкою стріли», подсмеивается над татарином: «На что ты смотришь? На что ты уповаешь? — говорит. — Али на шапку, что «вітром підбита, а зверху дірка?» Наконец, хватит татарина, повалит его, привяжет к коню арканом и отправляется к товарищам, гордый тем, что «таке диво» поймал. Перед сражениями обыкновенно происходили такие же выезды или схватки: гетман или полковник выкликал на «герець» самых бойких и храбрых открывать сражение. На таком герце отличился и погиб Канивченко. Память этих наездников особенно была чтима народом, описания их подвигов украшаются резкими гиперболами: так в одном варианте Канивченко говорится, что его коня ловили тысячи казаков; Савве Чалому [147] приписывается геркулесовское избиение неприятельских сил: было «сорок тисяч» (число, обыкновенное в песнях) — «зосталося двісті». Война степная отличалась неожиданными приключениями и

быстротою. Татары и казаки, лавируя в очеретах днепровских, лугах, байраках, нападали друг на друга врасплох и пользовались ошибкою врагов:

Вороженько спить-лежить,
А молодий козаченько
Чимсвіт налетать.
— Не спи, не лежи, вороженьку:
Козак знає дороженьку!
Як ніч налетить-набіжить —
Навік тебе усипить.

Молодой казак, преследуя врагов, не смеет беспечно отдохнуть — на него «постигне біда». Так Федор Безродный [148], севши «обід обідати» с своим чурою «над сагою обід — Дніпровою», был застигнут и изрублен «безбожними ушкалами». Хитрость была преимущественно воєнною тактикою того времени. Крепости брались обыкновенно посредством фальшивых приступов, которыми отвлекали внимание неприятеля от главных пунктов; иногда победа зависела от неожиданного напора, нередко изменники проводили отряды в подземные ходы, откуда шел выход прямо в средину крепости. Так по свидетельству летописцев взяты войсками Хмельницкого Кодак, Каменец, Новгород-Северский и другие города. Во время униатской войны гайдамаки брали и разоряли города внезапным налетом и хитростями. «Хмарою», говорит песня, набегают они на «лядськії городи, зраду сиплють» на них. Подобный образ войны велся и на поле. Казаки пускали преуве-**/141/**личенные вести о своей силе в лагерь хвастливых и трусливых шляхтичей, искусно закидывали позади их дорогу — «задній шлях», потом стремительным натиском приводили в смятение; «ворогам приходилось утікати»: но казаки заранее приготовляли им «зраду, а собі потугу», потом, окруживши со всех сторон, «по всім хрестам били-колотили, заганяли в кальнії болота, драли-обдирали, трупом поле устилали, кров'ю води доповняли»; только отважнейшие успевали прорваться сквозь ряды неприятеля, что называлось «вискочить попід рученьками», остальные «покотом лежали, вищиривши зуби і їли їх собаки і сірі вовки». В тактике казацкой соединялась осторожность с храбростью. Опытный полководец поставит стороженьку «усіма шляхами» и удерживает жар подчиненных:

— Не спішіть, — каже Біда слово, —
Буде час погинути,
Головку положити,
Ляхів звеселити [149].
(«Запор. стар»., ч. 2, № 1, стр. 26-27).

Казак всегда должен был «коней держать на взводі і шабельку під опанчею», а когда многочисленное войско неприятельское окружало небольшой отряд и когда оставалось на выбор или бегство, или славная смерть, он с презрением отвергал трусливые советы: «Утікай» — и решался лучше «погинути, чим славу свою під ноги топтати». В военных песнях мы видим безжалостную ненависть ко врагам: напрасно разбитые ляхи «опрощенія прохали, не таківські козаки, щоб опрощеніє дали». С восхищением вспоминают они, как лежали враги на Желтоводском поле: «Не по однім ляху зосталась вдовиця і заплакали діти». Горе постигает тот город, куда ворвутся гайдамаки-мстители. Народная поэзия оставила нам страшную картину разорения Могилева Наливайком. Стало пусто, говорит песня, в городе Могилеве, как повеяли казаки из самопалов; пни и колоды остались единственными свидетелями бедствия, постигшего племя польское, орлы и змеи пировали на остатках разоренного города, поедая с довольством ляшские и жидовские трупы.

Город, который посетили казаки, будет долго носить следы гостей. Так господарь молдавский, поглядая на Яссы, столицу свою, восклицает:

Ох ви Ясси, мої Ясси!
Були колись барзо красні,
Та вже не будете такі,
Як налинуть козаки.

Достойным образом отплачивали казаки татарам за те кровавые сорочки, которые неверные снимали с русских предводителей. «Откуда вы идете?» — спрашивает казаков гетман. «Ой пане-гетмане, — отвечают они, — были мы у бусурмана»: **/142/**

Багацько у чортяки всякого надбано:
По три смушки з барана,
А четвертий, невеличкий, із самого бусурмана.
(Макс, изд. 2, стр. 144).

Такое варварство было характеристическою чертою того века, когда над пленниками не знали сострадания, и самое преступление наказывал не закон, а мщение.

Упомянем о тех побуждениях, какие руководили казаками в войнах. Обыкновенно война начиналась с целью религиозной: «За віру християнську», таковы многие походы против турок и татар, подобные рыцарским вооружениям религиозных орденов Запада, это побуждение управляло и войною униатскою. С ним почти всегда соединялось другое: за родину — за Украину. Таковы были войны против татар, уводивших «жінок та дівок» из русских деревень; войны с поляками всегда имели причину патриотическую. Весьма часто казак отправлялся на брань для славы, то есть с желанием прославиться военными подвигами: «Слави і честі набрати», а иногда просто для приобретения добычи. Казак, которому «нічого їсти — голодом сидіти», просит у матери «пустить» его «погуляти, доленьки шукати». Привезу, говорит, «тобі, мамо, три жупани, сріблом поткані, а між тими один жупан із самого хана» (Макс, изд. 2, стр. 144).

Описания сражений в малорусских песнях не отличаются подробностями, напротив — всего чаще кратки и ограничиваются резкими чертами. Обыкновенно в них употребляются образы и сравнения. Мы уже упомянули об одном сравнении поля сражения с нивою и самой битвы — с жатвою в изложении символики растительного царства. Столь же часто смерть и погребение убитого рыцаря носят образ бракосочетания:

Поняв собі паняночку:
В чистім полі земляночку.
(Макс, изд. 2, стр. 9).

Казак отсылает коня своего к матери и приказывает не говорить, что он умер, а сказать, что он женился:

Ти не кажи, коню, що я вбився,
А скажи, коню, що я оженився *.

* Эта форма сравнения смерти с браком основывается на глубоком народном чувстве и таинственном понятии, о чем мы уже упоминали. В свадебных песнях поется об устах, закипевших кровью; так точно в старину при погребении девиц отправлялись церемонии, напоминавшие свадебное торжество.

Нельзя не упомянуть здесь о любви казака к своему коню. Конь для казака — предмет нежного участия, добрый хозяин холит его с отеческою привязанностью: **/143/**

Подобає, мати, коню сіна дати,
Сіна по коліна, а вівса по шию!

Зато и конь помнит участие господина и спасает его в минуты опасностей. Казак, обвешанный добычею, едет по взлесью. Сзади, спереди, с боков его преследуют неприятели. Дорога закидана срубленным хворостом, но казак не боится беды, он надеется на свою храбрость и на своего коня:

Ми од погоні утечемо,
А сторожу та обминемо,
А з устрічею та поб'ємося!

А он, «його кінь вороненький, перескоче той хмиз зелененький». Конь изображается также существом говорящим: образ, напоминающий разговор Ахиллеса с конями в «Илиаде» [150]. Казак Канивец, гордый победою, одержанною над татарским наездником, седлает коня своего, чтоб отправиться на новое единоборство. Верный конь открывает ему будущую судьбу:

Ой винесу тебе сей разок,
Та не гарячи своєї крові,
Та погубимо неприятеля!
А в третьому разі нещасливий будеш:
Буде твоя головонька та одрубленая!

А когда свершится предсказание ретивого друга и «заляже біле тіло», раскинув «рученьки край крученьки, і ніхто до тіла не натрапиться», — конь, поникнув головою, стоит над ним «по коліна сиру землю вибива, свого пана-копитана пробужда».

Шестой элемент казацкого характера была слава. Часто из одной славы казак решался на самый отчаянный подвиг; страх, чтоб его не назвали трусом, придавал ему крылья. Смерть не страшна для отважного рыцаря: что нужды, что голова его «поляже, як од вітру на степу трава», когда

Слава його не вмре, не поляже,
А лицарство-козацтво всякому розкаже!

Слава его загремит

Поміж друззями,
Поміж лицарями,
Поміж добрими молодцями.

Эти стихи — обыкновенный финал всякой думы бандуриста. Надежда жить в потомстве — самое отрадное утешение рыцаря. Плача о разорении своей Сечи, не видя впереди ничего такого, что бы подавало надежду на возобновление старого быта, запорожцы поют: «Хоч пропали запорожці, та не пропала їх слава!» (Малор. и черв, дум., стр. 58).

В песнях, где высказывается грустное воспоминание народа о прошедшей жизни, мы встречаем жалобы на потерю славы, так что если для малоруса станет жалко своей Гетманщины, то потому, что он не находит в настоящем положении сво-**/144/**ем ничего,

достойного славы. «Не видал ли ты казацкой славы?» — спрашивает орел сокола. «Видал, — отвечает тот:

Лежить вона на широкому возі,
Бичовою звита,
А рублем прибита».

Чтобы яснее показать, как все эти изложенные элементы казацкого характера сплетаются между собою, приведу здесь изображения двух типических лиц казацкого мира, почерпнутые из народных песен.

1. *Морозенко*. Одним из самых любимых народною памятью лиц казацкой жизни является нам Морозенко *. Имя его пережило другие, более славные, имена исторические и до сих пор знакомо целому народу. Храбрость, благородство, любовь к родине, товарищество, склонность к разгулу — все свойства днепровского рыцаря одевают светлыми лучами этот идеал казака. Вся Украина предавалась исступленному восторгу, когда полки его проносились грозою искупления по ее пределам; вся Украина плакала, когда разнеслась весть, что мужественного защитника ее не стало на свете.

* Можно думать — корсунский полковник Мороз (упом[инается] в лет[описи]).

В кровавую эпоху униатской войны выступил Морозенко на поле славы; первый он является в числе предводителей, торжественно вышедших из Полтавы с своими таборами. Под Пилявцами полковники дожидали, чтоб он первый тронул свой отряд: сам Хмельницкий честил его. Очищая от врагов православной Руси Подоль и Волынь, Морозенко сделался страхом поляков: матери пугали его именем детей; в созвучии его прозвища с словом «мороз» находили тайную связь: «Більш ляхи Морозенка бояться, чим мороза». Знали его ляхи по Пилявцам, знали его и по Жванцу. Славу Морозенко народная фантазия изображает в виде чудесной скрипки из дивного зелья, со струнами из таинственной руты: как заиграет на ней Морозенко, говорит песня, то гул разнесется по всему свету. Запоют под звуки ее ляхи, откликнется, вспомня про Бендеры, турчин. Казак в полном смысле, повелевает он своею дружиною, а дружина гордится его именем. Благородная осанка, мужественное лицо пленяли всех, окружавших его. Песни передали нам и одежду рыцаря. Он носил широкие шаровары, которые заметали след, пунцовый кунтуш, а сверху голубой жупан; шею его обвивала красная лента, чтоб знать было начальника гордого войска; за поясом был череш с червонцами: он рассыпал их без счета, дарил и терял в часы беспечного разгула. Украинки восхищались, глядя, как он красовался с люлькою во рту, заложа руки в боки, закинувши **/145/** хватски набекрень шапку. И не одна старая матушка, знаючи, что у него не переводятся деньги, замышляла отдать за молодца свою дочку, «присталую панночку», у которой голос, будто звон колокола, которой улыбка, словно блестящий против солнца разлив Дуная.

Шумным наплывом ринулись татары на русскую землю. «Горде військо» выступает из-за крутой горы, скрипят колеса, звенят подковы. Морозенко впереди — таков дух казацтва. Назади не ходит у них командир: он показывает братьям дорогу, первый подставляет под пулю свою грудь белую. Люлька лениво дымится, нехотя ступает «сивий» конь — чует невзгоду на своего господина, печален Морозенко!.. Наклонил он голову коню на гриву, ноет сердце: вид полей Бессарабии грустно напоминает ему роскошные степи родины. «Бедная моя голова, — говорит он: это — чужая сторона!» Но вот загремели пушки, явились бусурманы. Морозенко встрепенулся, взмахнул мечом,

повернул конем, понесся молнией на врагов, и, куда он ни проедет, течет за ним река кровавая, недаром он носит красную ленту, цветом похожую на кровь турецкую.

Под горою каменного покопаны шанцы. Туда бросился Морозенко, но счастье не повезло ему. Прощай, гордое войско! Взяли Морозенко, связали Морозенко назад руки, повели в крепость. Песня подробно описывает, как мусульмане ругались над ним, сняли с него черешок с червонцами, обобрали до ниточки, потом бросили в глубокую сырую темницу. Кое-какие казаки из гордого войска убежали с побоища: они принесли горькую весть на родину. Услышала мать — заплакала, сидя в воскресенье у окошка, заплакала о сыне, что распускался, словно мак в огороде, а теперь томится в неволе. «Ах ты, старая! — говорят ей казаки: нет, видно, у тебя толку! Твой сын в неволе, да не грустит, а ты уж и запечалилась. Выпей с горя меду-горелки с нами, казаками, соберись с умом, продай волы, коровы, хаты и амбары — выкупи сына из сырой темницы». И старая сбывает добро свое: выкупает сына из турецкого плена.

А между тем голосит Украина за своим храбрым казаченьком. И подстерегли ее слезы соседи и ругаются над ее горем. Не надолго. Пусть не льстятся ляхи, не заходят далеко в Украину, думаючи, что без Морозенко некому проучить их. Морозенко ворочается из неволи. Говорят ляхи, говорят турки: «Плачет Украина!» Нет, не плачет Украина — скачет она с Морозенком, возрадовалась казацкая рада. Морозенко выгнал турков, прогнал ляхов и гуляет победителем на своей. Украине: «О! Теперь я не покину ее даром, будут маленькие дети знать, когда я покину свою Украину! Будут знать и маленькие дети, и девицы! Ах, девицы, бедняжечки! Какова-то за вас расплата! Такова за вас расплата, каково у меня войско, научились теперь и турки, и ляхи тайком убегать». Вот **/146/** подлинные слова Морозенко: они показывают вполне характер его. Не о себе он говорит, не о своих личных отношениях... Он весь предан родине, для нее только и существует.

Но минутно было торжество казаков. Опять варвары нахлынули на родные поля. Враги закоренелые — ляхи соединились с ними. Опять Морозенко садится на сивого коня, летит защищать родину. Грустно ему. Предчувствие тяготит сердце. Заметила дружина тоску предводителя: «А годі журиться! — говорят ему казаки, — іди з нами пить да гулять». Забыл Морозенко о предстоящей опасности, стал пить да гулять, поет песню, и вдруг турки и ляхи обступили их. Бросился Морозенко, хотел выскочить «попід рученьками», но в дыму ружейном враги схватили молодца и увели. Гордое войско разбито и рассеяно.

Теперь уж не вырвется Морозенко, никто не успеет спасти его, не возьмут враги выкупа: суд их будет короток. Татарин вяжет ему назад руки, рыцарь с презрением и твердостью говорит: «Вяжи, враг татарюго, вяжи потуже мои руки назад! Но не отчайтесь, казаки, будет вам еще отрада». Чтоб усугубить муки, ведут его на высокую могилу: пред глазами раскрываются родные поля Украины. «Смотри, — говорят ему в насмешку, — насмотрись теперь вдоволь на свою Украину!» Душа казака, твердая, как сталь, делается мягче воска, ему приходится проститься навсегда с милою родиною! «Украина! Украина! И ты, гордое войско! Прощай и ты, старая матушка!» После этого прощания со всем, что было дорого сердцу, ничего уже не остается: он умрет спокойно. Свели его бусурманы с могилы, повели под грушу и вытянули невинную душу.

И нет ему ни креста, ни могилы, злодеи порубили «в чверті» его тело. Плачет неутешная Украина!..

2. *Нечай*. Другим образцом народного казацкого характера можем мы привести Нечая. Если великодушие, благородство, безусловная преданность родине были черты Морозенко, то в Нечае мы увидим существо прекрасное, любящее. Семейственность, любовь, пыл юношеский борются в нем с преданностью родине, сознанием долга и твердостью духа. Нечай любит веру и родину так же, как и Морозенко, но характер его отличен. Имя Нечая не есть предмет безграничного уважения; умирая, он не оставляет Украину сиротою. Но всякий украинец видит в нем свое родное, принимает в нем

невольное участие. Украина оплакивает его, как верного и послушного сына. Это характер юношеской красоты, так как Морозенко — возвышенный идеал народного представителя.

Нечай, как известно, был полковник брацлавский при Богдане Хмельницком. Во вторую войну Хмельницкого с поляками он погиб под Красным, в Галиции, застигнутый врасплох Калиновским [151]. Об нем-то сохранились песни, где **/147/** описываются его чувства, подвиги и плачевная кончина. Словно голубь, что ищет себе пару, является Нечай в красе молодечества и отваги, гуляет беспечно «по козацьких українах» и наигрывает на сопилке, а звуки сопилки передают ветрам буйным заветные думы. «Хочу я ее повидать, — поет он, — повидать девицу, что-то сказал бы я ей, за ручку подержал бы ее, девицу молоденькую!»

Таков первый образ нашего молодца. И вот он в раздумье: что-то предстоит ему тяжелое — путь далекий, разлука, чужая сторона. Что делать? Враг опять утесняет родину. Ему ли, верному сыну Украины, молодому, бойкому, ему ли оставаться без дела? Душа горит: поэтические думы рвутся из ретивого сердца, но не ветрам он передает их, нет; не пропадут они даром в казацких украинах. Звуки бандур повторят новое желание казацкого сердца, запоют его песню в рядах рыцарей. Это дума Украины, призвание народа русского свергнуть чужеземное иго:

Буду листоньки писати,
Будуть мене люди знати.

Что это за листоньки? Понимаем. Это один из тех пламенных созданий поэзии, которые некогда потрясали сердца, согретые свободою, которых остатки перешли к нам как памятники времен, полных жизни, любви и поэзии. Казак был природный поэт, творческая сила при случае готова была зашевелиться в груди его. Нечая, любимый свой идеал, народ изображает поэтом. Он хочет писать листы, чтоб знали его люди. Но будут знать его не только по листам: узнают его и по делам, будет жить в песнях и его собственное имя:

Чи мені коня сідлати,
В чисте поле виїжджати?

«Оседлаю коня, поеду по степям — по раздольям, за врагами поеду». Но в ту же минуту пробуждается в нем другое чувство. О чем он вспомнил? О чем призадумался? Есть у него «дівчинонька», уже дано ему согласие отца ее, уже старая мать приняла молодца в свои родственные объятия. Уедет ли он, не погрустивши с милою, не помоливши вместе с нею Бога. Она ему вынесет турецкую сбрую: взглянет он на сбрую и вспомнит прощальное свидание; она ему принесет меч: и этот меч, как освященное оружие, будет среди вражеских рядов талисманом победы. «Седлай, хлопче, коня, — крикнул Нечай, — поедем к девице!» Ночь. Едет Нечай. Месяц освещает ему путь. Конь бежит. Вот стал меркнуть месяц, стал конь приставать. Вот виднеется усадьба. Дворик из-за деревьев белеет при мерцающем лунном сиянии. Туда поворотил казак своего коня. Она стала перед ним: она ждала его, голубка сизая, всю ночку темную не спала. Она отводит коня в ставницу, берет милого за руку, сажает в светлице, потчевает медом-пивом, сама слезно плачет. «Чего плачешь? — спрашивает ка-**/148/**зак. — Зачем заслезила свои очи ясные?» «Плачу, — отвечает девица, — плачу от того, что ты меняешь меня на нагайку». Это женщина! Входят отец и мать невесты. Старик, потупивши глаза, молчит, и в этом безмолвии юноша слышит укор своей разнеженности. Но мать дает полную волю своему чувству, и сердце молодца невольно соглашается с нею. Мать спрашивает у казака:

Коли ж тебе, мій зятеньку, додомоньку ждати?

Білу постіль слати, з донькою вінчати?

Казак отвечает:

Ой Бог знає, коли вернусь — в якую годину!
Чи то ж вернусь додомоньку, чи в полі загину?
Ой Бог знає, святі знають, та що починають;
Ой Бог знає — мабуть, хвилі мене піджидають.
Піджидають Нечаєнка, постіль стелють білу,
А я ляжу на їх спати, піджидати милу,
А я ляжу на їх спати та й просплю до ночі,
Та й не прийдуть та до мене мої ясні очі!

Какое столкновение преданности в волю Божию с мечтательною грустью! Песня не изображает ни конца свидания, ни отъезда Нечая. Перед вами другая картина. Нечай едет с дружиною по степям, по горам, солончакам и оврагам. Зеленый лес шумом наводит на него унылые думы:.

Ой не шуми, луже! Ти зелений гаю!
Не завдавай серцю жалю, бо я в чужім краю!
Приключилось Нечаєві пропадать на чужині!

Но вдруг, как будто присмотревшись в свое сердце, он силится освободиться от убивающей грусти и предается отчаянной решимости:

Гей на ляха, ляха неси мене, коню!
Та і в полі, полі останься зо мною!

И опять перерыв... Нечай побеждает себя. И опять иная картина, и в ином уже виде является нам «лицар».

Есть в Галиции местечко Красное. Там очутился Нечай со своим войском. Недобрые вести до него доходят. Ляхи узнали о малочисленности отряда казацкого, об оплошности русских и хотят напасть на них. Казаки могут быть разбиты наголову. «Беги, Нечай! — кричат предводителю. — Беги, погибнем! Ляхов много, нас мало!» Полководец с презрением отвергает предложение. «Убежать — мне! Да разве я не Нечай, чтоб потоптать ногами мою рыцарскую славу? Или нет у меня войска? Или нет у меня коня вороного, меча булатного? Нет, я оборонюся!» «Будь осторожен», — говорит ему друг. Нечай поставил по всем дорогам стражу, а сам отправился кумовать к жене священника Хмельницкого. Вот накрыт стол. Казака угощают рыбою и вином. И пирует казак, силясь придать себе вином отваги. Шум. Выстрелы. Нечай открывает окно. «А! — **/149/** крикнул он. — Ляхи в городе; ...да какая пропасть! Как кур на рынке. Хлопче! Седлай коня! Вырежем до одного всех ляхов. Ногу в стремя, саблю наголо!» Нечай сражается! О какое сражение! Как прекрасен наш удалец! От одного конца улицы до другого летает он на своем вороне. Разделились ряды врагов, валятся ляхи, будто солома под цепами. Кровь льется рекою, трупы накиданы грудами. Калиновский с отборною дружиною бросается на Нечая. Казацкий конь летит во всю прыть, свищет сабля, отбивая напор гонителей, но вдруг, верно по воле судьбы, споткнулся вороной на корень, казак уронил саблю, шапка слетела с головы и длинный оселедец в руках напольного гетмана.

Черный зловещий ворон пролетел над головой пойманного рыцаря и карканьем провестил ему кончину. Все рассеяно, разбито. «Казаки! — восклицает Нечай. — Кто будет из вас дома, поклонитесь старой матери и несчастной невесте!» Не прошло получаса, и Нечаева голова катается по рынку. Когда утихло сражение, казаки подняли

отрубленную голову своего предводителя, похоронили в церкви Варвары Великомученицы и произнесли свое заветное прощание: «Прощай, козаче! Зажив єси великої слави!»

II. *Чумак*. Казак, как мы выше заметили, был главным действующим лицом в исторической сфере народной малороссийской жизни, следовательно, образцом народного малороссийского характера. Черты его перешли в другие классы народа и, по упадку воинственного духа, явились в противоположной сфере мирной деятельности. Таким образом, отражением угасшего рыцарства является в Малороссии «чумак». Казака вызвала к деятельности потребность народная, и чумака произвели положение Малороссии, общественные нужды и народный дух. Малорусы окончили свое воинственное призвание, настали времена другие. Народ, долгое время искавший свободу, нашел ее — надобно ж ему пользоваться своим приобретением: сабля заменилась косою, пушка — плугом. Но Малороссия, с такими широкими, привольными степями, могла ли вмещать в себе людей, которые бы мирно обрабатывали скромный уголок и не разлучались друг с другом далее ближнего ручья? Мог ли малороссийский народ, разыгравши такую шумно трагическую роль в истории человечества, забыть ее вдруг и переступить в совершенно противную сферу жизни? Природа любит постепенность, и человек не может быть с нею в разладе. Прежде чем народ оставит свой прежний образ жизни и усвоит другой, он непременно должен перейти среднее состояние между старым бытом и наступающим. От этого, прежде чем казак обратился в поселянина, он стал «чумаком і бурлаком». Оставивши «козакувать», малороссияне принялись «чумакувать». Состояние чумака есть пе-**/150/**реход к состоянию земледельца, скотаря, мужика... По своим занятиям он мужик, по духу и характеру — казак. Собственно, в чем состоят занятия чумацкие: в перевозе фур [152] соли, вина, рыбы, хлеба и т. п. Кажется, самое прозаическое, вседневное назначение! Но так ли смотрит на них малороссиянин?

Чумак находит какую-то славу в своих путешествиях. Вместе с тем, что «пішли наші синочки грошей добувати», народная песня говорит, что они пошли еще и «слави заживати». Извоз чумацкий воспевается как воинские подвиги отцов: «Дотягайте, славні чумаченьки», «виступала славна чумачія». В лице чумака малороссиянин видит благородные черты рыцаря: «Ой чумаче, чумаче, в тебе личко козаче»; описание «виправи» рисуется в цветах мужеской красоты и удальства:

Ідуть воли із-за гори та все полові́ї,
А за ними чумаченьки та все молодії.
Ідуть воли із-за гори та все круторогі,
А за ними чумаченьки та все чорнброві.

В наше время песни казацкой Гетманщины переделываются в чумацкие. Так, Морозенко в Слободской Украине [153] величают вместо «козаченька» «чумаченьком». Кто знаком с состоянием современной народной поэзии, тот наверно слышал песню, в которой сначала говорится о конях и татарах, а кончится «половими волами і мазницями». Так-то бессознательно народ находит связь между своим прежним и настоящим бытом.

То же можно сказать о главном побуждении чумацкой жизни. Интерес ли движет ее? Он участвует в ней точно, но с интересом соединяется что-то другое: безотчетное какое-то влечение к путешествиям, приключениям, товарищеской жизни, самопроизвольное отрешение семейственных связей, то же, что оттеняло с некоторой стороны характер казака.

Чумак отправляется из дому, провожаемый женою, матерью или сестрою, как казак на войну. «Жінка» бежит за ним «в погоню»,

Хватає, спиняє,

Серцем називає:
«Вернись, серденько, додому!»

Чумак, тронутый привязанностью подруги, просит, чтоб она «не журилась, з личенька не спала» и советует «молиться Богу, щоб хортуна послужила». Иногда молодая дивчина вышивает чумаку на дорогу «рукавці на сорочці», и такой подарок ценит он так же, как казак «ту хустку», которую «миленька» ему дала «сідельце вкривати». Если чумак впадет в грех и пропьет «вози й занози», то все у него остается **/151/**

...крамная сорочка,
Що шила-вишивала отецькая дочка.

Во многих чумацких песнях девушка бежит за возами, плача по милому:

Попереду чумаченько курить люльку, йдучи,
А за ним же чорнявая плаче-рида, йдучи.

А ее «чумаченько Гриць сидить на важниці і, тяженько вздихаючи», утешает свою красавицу, обещая воротиться «на другую весну», а между тем она «підросте» и станет еще прекраснее. Эта сторона чумацкой жизни очень подобна казацкой в тех же случаях. Но иногда чумак принимает совсем иной характер, свойственный также казаку. Вместо грусти при разлуке с родными он насильственно хочет вырваться из их объятий, алкая приключений, дикой степи и буйных ветров.

Вернись, синку, додомоньку,
Змию тобі головоньку, —

говорит мать чумаку, как прежде она говорила то же самое казаку.
Чумак, увлеченный охотою странствовать, отвечает:

Ізмий, мати, сама собі
Або моїй рідній сестрі.
Мене змиють дрібні дощі,
А розчешуть густі терни,
А просушить ясне сонце,
А розкудрять буйні вітри.
(Макс., стр. 174).

Извоз чумацкий похож на воинственный поход их предков: между чумаками такое же братство, такое же единодушное общение в удовольствиях и печалях, такая же подчиненность старшим, которые избираются общим желанием, как некогда на казацкой раде избирались вольными голосами гетманы и полковники. Старшой называется «отаманом», он поставлен «для поради і всім чумакам перед веде». Он патриарх между ними, его советы принимаются как плод мудрости и опыта. Приедет ли обоз в Крым «по сіль» — чумаки сейчас спрашивают:

«Отамане! Батьку наш! Як ти поражаєш,
Чи тут будем хуру брати, чи дальше ступати?»

Если чумаков постигает какая-нибудь «халепа», атамана призывают как распорядителя:

«Отамане! Батьку наш!
Та порадь же ти нас!
Ой що будемо робити?
Чим воликів кормити?»

Атаман как мудрейший и достойнейший разбирает ссоры между «хлопцями» и защищает «валку» от неприятностей, ка-/152/кие встречаются в дороге. Если случится, что товарищ занеможет «в чужій стороні», атаман «бере його за рученьку, жалує його», и нередко чумак, умирая, завещает ему «поховати його», а себе взять все добро:

Бери мої вози-воли — поминай мене!
(Макс, стр. 175).

Раз дана власть атаману и он употребляет ее везде, чумаки считают себя обязанными повиноваться:

Ой раді б ми вернутися — отаман не пускає! —

говорят они женам, которые просят их воротиться.

Чумацкая жизнь «в дорозі» изображается исполненною опасностей, лишений, горестей. Есть песни, в которых описывается погибель чумацкого обоза от набегов татарской орды. К таким принадлежит прекрасная песня «Над річкою, над Салгір'ю». Чумаки отправились огромным обозом в Крым и были перебиты до последнего. Украина олицетворяется матерью, плачущею по деткам, о которых «орли сизокрилі» приносят ей весть, что ее сыночки «порубані, посічені». В другой песне рассказывается, как погибли черноморские чумаки «за Чорним Яром». «Повечерявши», чумаки

Без опаски спать лягли

И вдруг

Де не взялася орда,
Порубала чумака,
Порубала, посікла
І у полон заняла!

Сердце чумака томится грустью по родным, которая увеличивается неприятностями дороги. Чумак, положив голову «місто подушечок безталаннії важниці», вспоминает, как хорошо было ему дома, «що лучче було хазяйнувати, ніж по дорогах ходити», потому что «дома прийде вечір — вечеря готова і постіль біленька», а здесь он «на дороженьці кладеться, росою вмивається»; вообразит себе, как неутешная жена «виглядає на биту дорогу, закаляла білі ручки, кватирочку одсуваючи», как «дітки сирітки питаються батька», — и чумак восклицает:

Пішов би я додому!

Но беда: ему «нічим розплатиться». Холостой, покинувший родителей, представляет себе, как они ходят по двору и жалеют, что

Нема наших синів дома — ні на кого подивитися!

У такого, впрочем, более охоты к странствованиям, пусть

В кого жінка, в кого діти,

Тому й дома добре жити,
а он о себе говорит:
А я собі бурлакую,
Ой тим же я й чумакую. /153/

Разве только тогда, когда у него в родной деревне есть милая, он расстается с привольем чумацким, но сожалея:

Ой якби не ти, серце-дівчино,
То не був би я дома!

Такое горестное настройство духа часто заставляет чумака искать утешения в разгуле. Попойка, гулянка является у них тем же атрибутом полевой жизни, как и у казака, с тою однако разницею, что в чумаке это качество чаще имеет худые последствия. Чумацкий извоз, по выражению одной песни, есть зрелище шумное и веселое:

Ой гук, мати, гук, де горілку п’ють,
Веселая тая доріжка, де чумаки йдуть.
Чумаченьки йдуть та горілку п’ють.

И чумак, которого

Журба ізсушила,
А другая зв’ялила,
Сірі воли водячи,
В руках батіг носячи,

спешит избавиться от «журби впрямої» за чаркою, стараясь выбраться из осенней грязи, чтоб стать на «суші біля шинкарки Марусі», которая «його здавна знає, мед-горілку повіряє», но часто, зазнавшись «з великими господарями», он пропивает і «дрюки й важниці, і з дьогтем мазниці» и потом доходит «до такої злості, що програває і воли й вози в кості» и становится самым жалким лицом. Великие «господарі», которые с ним «пили-гуляли», прогоняют его, называя «голяком» и «лахмаєм»; товарищи над ним насмехаются, говоря:

А що тепер, вражий сине, будеш розбойничати,
Що не схотів, вражий сине, батька шанувати;

дома жена плачет: «Нема муки ні пилиночки, ні солі, ні зрубочка», «діти плачуть, їсти просють», нещасний чумак решается

Або піти утопиться,
Або об камінь розбиться.
Нехай добрі люди знають,
Як чумаки умирають.

Самые любимые народом песни чумацкие те, в которых описывается смерть чумака «в чужому краю». Обыкновенно «воли», столь же драгоценные для чумака, как «вороні коні» для казака, заранее дают знать о близкой кончине хозяина: они «ревуть, води не п’ють», подобно, как конь, зная «пригоду на свого пана», спотыкается «на воротях». Чумак становится скучным, мечтательным; вот он болеет, товарищи его не оставляют, все

ухаживают за ним с братским попечением; больной просит в последний раз привести к нему «скотину»: /154/

Приведіть мою худібоньку,
Нехай же я подивлюся!

обращается к животным с заботливым участием:

Воли мої полові, хто над вами паном буде,
Ой як мене, чумака Макара, на білім світі не буде!

потом наказывает поклон домашним, молится Богу и умирает. Товарищи оплачут его, сделают ему «домовину з рогожі» и «закопають в глибокім байраці», часто поутру в воскресенье — «в неділеньку вранці», в то время, когда домашние наряжаются в праздничное платье и собираются молить Бога о его возвращении. И потянется снова обоз и «заревуть сірі воли в новому ярмі, заремигають, свого пана дожидаючи», а чумак останется «під сирою землею на лещині», пробуждаемый по временам таинственною «зозулею», призывающею его «подати правую руку». Но память его остается в сердцах добрых товарищей: в первом селе они служат панихиду и «б’ють у дзвони во всі по тому чумакові, що ходив по сіль». Вся ватага покупает горелки, наварит каши, «укине» чабака

Та й пом’яне чумака.

Близкое к чумаку лицо в Малороссии есть — III. *Бурлак*. Обыкновенно бурлаком называется бездомный малый, бобыль, но в песнях южнорусских с понятием о бурлаке соединяется всякое лишение, земное бедствие и горесть. На бурлака нападают всякие несчастия, ему нет в мире угла, ему «ніде головки прихилити»; он — существо, определенное судьбою на страдания, но существо, сознающее весь ужас своего положения в мире и потому самое несчастнейшее. Можно представить всю цену такой поэзии для этнографии малорусской. Здесь виден полный взгляд народа на человеческое бедствие в том виде, как оно постигает малоруса и как рисуется в его воображении.

Подобно шуму лесов и разливу вод поражает юношу неописанное горе:

Зашуміли луги,
Задзвеніли ріки,
Помер отець-мати —
Сирота навіки.

С этим словом «сирота» внезапно очаровательный мир детских чудес становится для него миром скорбей и лишений. Он покидает родной кров, потому что «кругом хату й сіни вороженьки обсіли, лихі люди його ненавидять, женуть, б’ють; родина йому не мила, бо роду нема»; свидетельство прежнего счастья в настоящем горе убийственно мучительно: поплачет сирота «на батьківській і матенчиній могилі» и идет «на чужину», но «на чужині» /155/

...як на пожарині,
Ніхто його не пригорне при лихій годині.
(Макс, стр. 166).

Живет он у чужих людей, работает прилежно, «а робота йому нізащо», работает так, что «піт заливає йому очі», но «хазяїн його лає», а «хазяйка», старая брюзгливая баба, «повторяє». Бурлак спит «серед хати до порога головами», встает чуть заря, «не

вбувавшись, не вмивавшись, поспішає за волами», по снегу, «підгинає ноги, споминає отця-неньку:

Мати ж моя старенькая,
Нащо мене породила?
На біленький світ пустила,
Щастя-долі не вділила»

и жалуется на провидение, оставившеє его в мире:

Помер отець-мати
І уся родина,
За що ж я остався,
Бідна сиротина?

Люди, которые «бідного чоловіка ні у що вміняють», чужды его горя. «Работай, — говорят они и бранят его за лень:

Сиротонька робить і ручок не чує,
А люди говорять, що в корчмі ночує,
Сирота втомився — на тин похилився,
Люди кажуть і говорять: «Він, мабуть, упився».

Вспомнит он былое, вспомнит часом и то, что у него есть еще «рід», та «цурається його», потому что

Як було в сироти
Пшениця родила,
Тоді сиротину
Родина любила.
А як у сироти
Кукіль уродився —
Тоді од сироти
Весь рід одступився.

«Чем я виноват?» — размышляет он. Начинается ропот на высшую волю:

Доле моя, доле! Чом ти не такая?
Ой чом ти не такая, як доля чужая?

Счастье людское растравляет неизлечимые раны сердца:

Що чужії люди нічого не роблять,
Нічого не роблять та й хороше ходять,
А я роблю-дбаю, у себе не маю!

Глянет он на своих соседей: «У того хата біла і жінка мила», а ему «не дав Бог ні долі, ні талана», «той поїхав до роду, не наговориться», а он «куди ні піде, ні повернеться — усе чужина». Верно, мать его «в церкву не носила, щастя-долі не впросила»; верно, его «не такі куми приймали», что «щастя-долю не вгадали». Нет ему в людях приюта, нет ему между ближними чести, душа полна, лета в полном развитии. Кому передать движение сердца? Кто отзовется на его стенания? **/156/** Всходит бурлак «на високу гору, гляне по

світоньку: сонце ясне, світ прекрасний, тільки талан його безщасний!» «Зав’яв дуб без сонця», «почорніла могила» от жара — вот образы его жизни! Природа не оставит «бідагу», природа поделится с ним, утешит его, укажет в своей необъятной области на что-нибудь схожее с его собственным существом. Вот летит орел по поднебесью, звенит крылом, рассекая воздух... бурлак слышит к себе участие:

Чого шгачеш-тужиш?..
— Порадь мене, орле, що маю робити?

Не знает орел! Не знает бурлак! Летит орел «по високій високості», полетит он «через степ широку, через море синє»... Летит за ним воображение бурлака, развернулась юная душа. Явление вещей птицы вызывает из глубины души таинственную надежду:

Покидай сей край, де роду не маєш,
Ти йди на Вкраїну, там знайдеш родину,
Там знайдеш родину — любую дівчину.
(Макс, стр. 165).

Добро ему, если в самом деле встретит он подобное себе несчастное «чорнявеє» существо, у которого слезы капают, как роса с калиновых ветвей. Но горе ему, если он последует за орлом в даль заветную: путеводитель потеряется в облаках, а бурлак останется «в чужому краї, як зозулине пір’я на тихім Дунаї». Чаще всего доля гонит бурлака «до краю». Лета его прокачиваются без роскоши; он оглянется на себя: уже на лице морщины, волосы белеют, вздохнет тогда пуще бурлак, вздохнет за своими летами:

Літа мої молодії! Де ся ви поділи?
Чи ви в луги, чи в байраки геть од мене полетіли!
(Макс, стр. 170).

И горше станет его положение! Прежде воображение рисовало ему исподтишка надежды, теперь он видит, что «люди його не злюбили», что он «уже нікому не милий», почувствует сильнее свою безнадежность, свое одиночество, свое ничтожество в семействе человечества:

Літа пройшли скоро, як бистрії ріки,
І жив я в нещасті усі свої віки!
Остався я бідний щастя свого,
Усюди проходив — не знайду його.
Куди я не піду — щастя не маю,
Де мені жити бідному, сам я не знаю.
Ні куточка собственого, і всім я одкритий,
Як то тяжко сиротині на сім світі жити!

Тогда единственною отрадою его станет смерть: «Літа мої! — восклицает бурлак:

Коли доля нещаслива, — будьте коротенькії»
(Макс, стр. 170). **/157/**

Смерть не приходит, бурлак продолжает влачить горькую жизнь, жестокое бремя ее тяготит его донельзя, он смотрит на реку —

Такі його думки взносять: піду утоплюся!

Но голос религии, голос терпения взывает к нему из тайников души:

Не топись, козаче, — марно душу згубиш,
Треба з нею в світі жити, хоч її не любиш!

И бурлак допивает горькую чашу бытия до тех пор, пока провидение не сжалится над ним и «не визволить» его «з сього світу».

Не всегда, однако, бурлацтво проистекает из подобных причин: часто бурлак становится несчастным по собственной воле, горе его есть следствие страстей. Так, молодой казак, завидуя «щуці-рибі», которая в «морі гуляє доволі», а он молод да «волі не має», покидает мать, идет искать лучшего житья и потом проклинает судьбу. Так старому бурлаку, жалующемуся на недолю,

Обізвалася доля по тім боці моря:
«Козаче — бурлаче! Дурний розум маєш,
Що ти свою долю марне проклинаєш.
Та не винна доля, винна твоя воля,
Що ти заробляєш, то те пропиваєш».

Часто внутреннее сознание отзывается среди горьких жалоб на судьбу:

В старій жизні маю неспокій терпіти,
Що не вмів я молодими літами владіти.

IV. *Поселянин*. Жгучее, шумное лето заменяется меланхолическою плаксивою осенью. Так пламенно-бурное казачество уступило место томительно-тихому миру чумацтва и бурлацтва. Но осень не продолжительна: студеная зима скоро сменяет ее. Странным чем-то представляется для южного жителя это время покоя: не таково оно у нас на Руси, на севере. Наша земля весела, игрива, беззаботна, наше зимнее солнце, если не греет, зато блещет каким-то сладко-усыпительным светом. Такова поэзия малороссийского поселянина. Поселянин — последний образ, к которому нас приводит исследование народных малороссийских типов. Мы заметили выше, что малороссийский элемент в русской истории есть только орган возрождения юго-западной Руси. Теперь, когда это возрождение совершено, естественно должен начаться новый период жизни. Прежде народность наша представлялись в разных отделах, теперь всякая частность, провинциальность должна изглаживаться образованностью. Те классы народа, которые вкушают уже плоды новой жизни, не знают для себя местного различия. Только те, которые запоздали на пути **/158/** образованности, только те поневоле сохраняют в себе старые элементы. В настоящее время весь малороссийский элемент сосредоточился в простом классе деревенщины. Там доживает век поэзия малорусская. Оттого-то малороссийским поселянином и должно оканчиваться наше обозрение общественной жизни Южной Руси.

В жизни малорусского поселянина можно различить два периода, разделяемые чертами резкими; первый есть время его юности: «парубоцтво». Тогда он является беспечным, увлеченным фантазиею, преданным чувству, с страстями. Второй начинается для него с тех пор, как он женится. Тогда он станет рассудительным, прозаическим, чувства подавляются тяжестью забот и трудов, страсти угасают под холодными расчетами семейственной жизни. Бросим взгляд на оба периода.

Я заметил, что в песнях малорусских все прекрасное является под образом казака. И теперь еще словом «козак» обрисовывается мужская красота парубка, но предметы, обставляющие его положение, не те, желания проявляются иначе. Степь, конь, ловитва

врагов не сверкают уже в этих песнях. Здесь спокойно, как в равнинах украинских. Любовь в них господствующее чувство, но она тиха, пламень ее сокрыт в глубине сердца.

Если парубок переступит за отроческие лета, когда по замечанию физиологов между мужеским и женским полами является какая-то неприязнь, пробуждается охота друг над другом подшучивать, в сердце отозвется неведомое до того беспокойство. Он затоскует, что у него нет «приятеля», что

Жаль серцю моєму,
Так жити самому.

Скоро он отгадает, чего ему хочется: «Вздихає до неба, що йому дівчини треба» и молит Бога, чтоб он услышал его «з високого неба» и дал ему «дівчину хорошу». Но пока еще ее нет, сердце распаляется. «Где она неведомая?» — восклицает он:

На всі світа сторони пішлю післоньки,
Де вона живе, де пробував?
Нехай буду знати,
Де її шукати!

Летите орлы на полдень, а на север ласточки... узнайте, где моя суженая? Или нет! Я сам оседлаю коня, пущусь по горам, по долам, широко-далеко... Там, над тихим Дунаем, над синим морем, сидит моя суженая, умывает свое личко морскою водою, русою косою утирается... В какой мир очарования заносит его мечтательное воображение! Как бьется в нем сердце! Вздымаются груди!.. **/159/**

Ой, чи не найдеться такого чоловічка,
Щоб розрізав парубкові та білії груди,
Поглядів би я, подивився на своє серденько,
Як із жару серце молодецьке, воно розотліло,
Як із полум'я серце молодецьке, воно розгорілось.

Но вот пред ним мелькнул образ красоты, сбылись надежды юношеских лет, настало время полного разлива чувству, совершается заветная дума... Кому ее поверить? Кто может принять под залог святыню сердца? «Люди» його «будуть судити», девственное чистое сердце не ищет между чадами суеты поверенного, первая жертва не им! Она приносится тому, кто есть истинный виновник красоты, источник любви... Младенчески ясно обращается сердце юноши к Богу:

Боже! День добрий тобі!
Що вона руку дає мені,
Милим мене приймає,
Здоров'ям вітає [154]. (Вац. из Ол., стр. 309).

В то время года, когда зима пробуждается от зимнего холода и расцветает под живительными лучами весеннего солнца, в малороссийской деревне начинаются «улиці», ночные собрания парубков и дивчат, проводимые в шутках и песнях беспечною молодежью, в нежных изъяснениях влюбленными четами. В час, как «корови» идут «з діброви, а овечки з поля», когда солнце станет «низенько і вечір близенько», молодой парубок тихо подходит к окну своей милой, у которой двор «пересажен вишеньками», как будто нарочно, чтоб «голосок» любезного «не доходив до батька», он томным напевом призывает ее на свидание. «Смотри, — говорит он, — вот «зірочка вечірня вийшла проти місяця», выйди и ты ко мне, «моя зірочко ясная, моя рибонько, дорогий мій кришталю! Не

бійся морозу, я твої ніжечки в шапочку вложу». «Постой, — отвечает ему милая: — Погоди, пока я

Своєму батеньку вечеряти зготую,
Білу постіль постелю,
Тоді вийду на улицю,
Тобі серце звеселю...»

«Надокучить» парубку «під віконечком стоючи»... но вот между вишневых цветущих деревьев крадется «чорноброва дівчина». Влюбленные бросаются друг к другу в объятия. «Серденько! Чого ти смутна, як вода каламутна, що хвиля збила? Чи не мати тебе била?» «Била, — отвечает девушка, — щоб з ледачим не стояла». Огорчится парубок. «Чи ти ж мене любиш справді, чи тільки смієшся?» — «Ой Бог знає, як я кохаю!» — отвечает, вздохнувши, девица. Парубок «бере її за рученьку, бере за другую, тулить до серденька, велить говорити, велить присягатися». Девица клянется: «Скарай мене, Бо-**/160/**же, на душі, коли я помислю» о другом. В свою очередь клянется и парубок:

О щоб я не дійшов додому щасливий,
Коли я до тебе несправедливий!

Успокоенные взаимными клятвами, любовники предаются нежностям. Парубок называет ее «червоною калиною, повною рожею, сивою зозулею», говорит, как ему «на и дивитися мило». Вот собирается улица. Влюбленные теряются в вихре игривой молодежи. Но когда месяц обтекает пол-неба, они ускользают из толпы, тихо прокрадываются к вербам, повесившим ветви в светлые волны озера, просят «місяця-перекроя», чтоб он «зайшов за комору», дал им наговориться... В час, как «соловейко, співаючи, обтрушує з листя раннюю росу білесеньким світом, іде парубок із улиці на роботу». Целый день «очі» его обращаются туда, «де видно хрести» родной деревни. Придет «вечір»: опять те же нежности, те же упреки.

Проста любовь поселянина. Чтоб понравиться своей милой, парубок умывается, готовясь «на свою милую подивитись», хотя он ей и так «сподобався». Успеет ли что заработать — спешит купить ей подарков: «серебрене колечко» или «шовковую хустку», хотя для его искренней не нужно подарков. «Серебрене колечко сушить — крушить сердечко, а хустка головку ломить», он сам для нее дороже и «краще усього». Зимою, в метель, парубок является под окно своей возлюбленной «з корцем меду» и жалуется, что она долго не выходит к нему:

Добре тобі, по кімнаті ходячи,
А мені, на морозі стоючи,
Корець меду держучи,
Корець до рук прикипає,
Метіль очі забиває.

Летом во время жнив парубок «частує отамана горілкою», щоб не изнурял его, милую работою. Иногда заботливость его «о своїй дівчиноньці» бывает чувственна, но так простодушна, так прелестна... Например, в отсутствие милой парубок, вспомнив, что уже пора ужинать, восклицает:

А де ж моє сердечко вечеряти сіло?
Нехай воно вечеряє та здоровеньке буде...

Сколь простодушна любовь парубка в своих отправлениях, столь же простодушна она в основании. Привязанность его к дивчине проистекает из взаимного влечения душ. В великорусских песнях найдете, что добрый молодец описывает подробно не только природные достоинства своей красной девицы, но даже одежду ее. Южнорус много-много, если мимоходом заметит, что у нее «брови на шнурочку» или «очі карі». Красота в песнях малороссийских изображается чертами **/161/** немногими. Еще менее могут при такой простоте иметь место посторонние расчеты, особенно богатство. Убогая всегда почти изображается по красоте и по нраву достойною любви в противоположность богатой, которая рисуется в невыгодном свете:

Багатая губатая, та ще й к тому пишна,
Убогая хорошая, як у саду вишня.
Багатая поганая ще й к тому гордиться,
Убогая хорошая всегда покориться.

Брак, основанный на расчете, представляется несчастным:

На погибель прийде тому,
Хто веде біду додому.
Вона скаже: «Я багата,
Моя правда, моя хата».

Вот какой совет подает «хлопцям» песня:

На посаг не уважайте,
Добрих жінок вибирайте,
З добрій ріллі, кажуть люде,
Ори плугом, а хліб буде.

В таких образах рисуют нам песни счастливую любовь парубка. Но вот любовь несчастная: измена девицы убивает любовника; дивчина «день» с ним, «вечір стоїть, а на другого вадить», рассерженный парубок иногда вспыхивает гневом:

Чорти б вбили твого батька з такою порадою!
Що я к тобі з щирим серцем, а ти з неправдою!

Случается, грозит он изменнице: «Шумітиме нагаєчка коло твого тіла», иногда он утешает себя, что если она нашла себе другого, то и для него «не буде Галя, буде другая та ще й кращая», но чаще всего, «тужачи за дівчиною», он «зчорніє, змарніє», свет ему опротивеет, он хочет убежать куда-нибудь «в затишу, де буде плакать — ніхто не услише». Попранное чувство, однако, не охладевается временем, не выплакивается слезами: парубок говорит, что хоть ему «більше на світі не любити», но он будет «до смерті за нею тужити». Любовь его никогда не превратится в желание мщения. Бог судья ей, что она не умела отвечать святыне чувства, он все-таки любит ее, больше, чем самого себя, и просит Бога об ее счастье:

Боже! Нехай у світі не знає злого,
Що їй найліпше — нехай має много!

Такое благородное чувство сопровождается обычною малорусам мечтательностью. Воображение создает дивный мир с мерцающими образами. Так, потрясенный любовник, теряя надежду, думает, что он некогда возьмет за себя милую, потом умрет «вскорості»,

его возлюбленная будет искать могилу друга, а его могила «край синього моря», там с ним скроются «любощі і тихая мова». Она придет к нему и станет сыпать землю на прах юноши, и под землею озовется к ней могильный голос: **/162/**

Не стій надо мною! Не кидай землею!
Сама, мила, знаєш, що важко під нею,
Під сирою землею!

Еще глубже утопает страстное сердце в области фантазии, когда высшая воля лишает его любезной. Милый образ остается в душе светел, не отенен неприятными воспоминаниями. От глубокого сознания горя парубок вдруг переходит к восторженному самозабвению. «Давайте мне коня, — восклицает он, — коня *сивого*: погонюсь за девицею в землю глубокую. Наедайся, конь мой, и сена и овса, длинна дорога наша, а поедем мы разом с ветром буйным. Вот уже вечереет: там сидит она, где заря выглядывает из-за деревьев: вижу мою любку! Словно в окошечко смотрит, все так темно, ничего не видно, а она как солнце блестит».

Есть еще другая сторона в характере парубка, когда он предается мечтательной чувствительности, когда сердце его игривое разгульно кипит в области страстей, перебегая от ощущения к ощущению, от минутного чувства к другому. Это бурное состояние молодости.’ Веселый, разбитной малый ищет утехи, а не взаимного чувства. Ловко и легко покоряет нежное сердце дивчины, легко и скоро растравляет его. Какое ему дело до того, что у нее «болить сердечко». Какое ему дело до того, что обманутая красавица сравнивает себя в заунывной песне с «хмелиною», лишенною подпоры, устилающею грядки своими широкими листьями? Какое ему дело до всего этого? Он нашел себе другую, «кращую», идет к ней поздно вечером мимо окон прежней своей милой «і подає їй голос», как будто насмехаясь над ее грустью. И новую обманет он как прежнюю, не на одну еще «дівчину напустить туман густий», не одну «молодицю з ума зведе, сам чорнобривий, грошей много, нема йому впину». Случается, ревнивый муж подметит и «оперіже його ціпом», а он как ни в чем не бывал, повернется, засмеется, а встретит дивчат, — опять возьмется перед ними в боки. Раздольем такого молодца бывают «вечорниці», ночные зимние собрания деревенской молодежи, но там иногда находит коса на камень. Какая-нибудь оскорбленная красавица отомстит за все жертвы его ловкости. «На вечорницях», — говорит песня, — есть «дівки чарівниці»: они «солому палять і зілля варять», зная чары, они «збавлять» навсегда «здоров’я молодому парубку», десять раз ему пройдет, а может случиться, что какая-нибудь не даст «довго з нею кпиться та сміяться». «Смійся, — говорит она, — смійся:

Не сміх тобі буде,
Як дам тобі зтиха лиха:
Повік не забудеш!
Ой хоч я дам, хоч не я дам,
Так дасть моя тітка,

Ізісохнеш, ізів’янеш,
Як ружева квітка.
У постелі лежатимеш,
Смертоньки бажатимеш,
У своєї матусеньки **/163/**

Водиці прохатимеш:
«Ой дай мені, стара мати,
Холодної води,

Насміявся з дівчиноньки
Хорошої вроди...»

Поэзия парубоцкой жизни в последний раз заолестит в свадебных песнях и здесь оканчивается. Как «місяць-перебирчик перебирає всіма зіроньками», потом полюбит «навіки одну зіроньку вечірнюю» (верование мифологическое), так парубок, «перебравши» многими красавицами, полюбит навеки «одну кращую» и милую для сердца. Но жизнь брачная уже не играет теми лучами поэзии, в каких рисуется молодечество парубка. Она тиха и однообразна, только грозные тучи, возмущающие спокойный небосклон супружеской любви, набрасывают на нее поэтическое покрывало. Южнорусская поэзия забывает супругов в счастливом состоянии, слегка и шутя упоминает о домашних раздорах, но в грозных картинах изображает то ужасное состояние, когда супружество становится источником земного бедствия и преступлений. Брак по несклонности имеет гибельные следствия: поселянин не хочет приняться за работу, горе терзает его сердце, он ходит по крутой горе, ветер раздувает его черные кудри: как ему «надокучило жити»! Посмотрит он «на чужі жінки: усі, як маковий квіт, а над його невдашечку» в целом свете хуже не найдется. И вздумает он думу страшную:

Візьму свою невдашечку та під білі боки
Та укину невдашечку у Дунай глибокийі

В червонорусской поэзии встречается много песен, в которых описывается убийство жены мужем. Такие песни отличаются ужасным зверством и бешенством. Видит жена, что муж идет к ней с топором, умоляет его не умерщвлять ее. «Я люблю тебя, — говорит она ему, — я мало жила с тобою!» Мужик отвечает:

Не нажилася, негідна,
І не будеш жити!
Ой підеш ти іще нині
В сиру землю гнити.
Буду, мила, тя різати,
Буду пробивати
Буду твої чорні очі
На ніж вибирати [155]
(Вацл. из Ол., стр. 490)

Часто неудовольствия между мужем и женою изображаются в шутливом тоне. Так например, в одной песне говорится, что у мужа была жена чрезвычайно капризная, муж долго потакал ей, наконец решился проучить свою половину: запряг ее вместо кобылы в воз и таким образом привез из лесу дров.

В жизни поселянина есть еще один тип новый, которому посвящено множество песен: это рекрут. Такие песни отлича-**/164/**ются жалобным тоном, изображая по большей части грусть при разлуке с семейством, горькое состояние солдата, но вместе с тем в них является сознание долга и преданность судьбе. Вот для примера одна рекрутская песня:

Круті гори, круті гори
На низ подалися,
Молодая дівчинонька
В парня удалася.
Які руки, такі й ноги,
Така й головонька,
Як зійдуться, обіймуться —

Люба розмовонька!
— Дівчинонько-пораднице,
Порадь мене, дівчино,
Як рідная мати!
— Яку ж тобі, мій миленький,
Порадоньку дати:
Одну ручку під головочку,
Другою обняти.
. . . .
. . . .
Ой у саду зеленому
Квіточки пов'яли,
Поміж тими квіточками
Дорожки лежали,
Понад тими дорожками
Кузоньки стояли,
Поміж тими кузоньками
Ковалі кували.
Вони кують і ллють, і гартують
Білеє залізо
Не на вора, не на розбійника,
А на сиротину,
На вдовиного сина,
А ще трохи погодивши,
Ведуть уловивши.
— Ви, сусіди, ви, близькії,
Вороги лихії!
Чому мене не звістили,
Як мене зловили?
Чому мені не сказали.
Як мене зв'язали?
Ой піймали ізвечіра,
Ніженьки скували,
Посадили у задочок
Та повезли в городочок,
Поставили у станочок
Та забрили лобочок.
Сюди-туди повертіли,
Кудрі облетіли,
Сюди гляну, туди гляну:
Ніхто не заплаче!
Тільки плаче та ридає
Сирітська мати.
Не плач, мати, не журися —
На те я вродився!
Не плач, мати, не журися —
На те я удався!
Білому царю на послугу,
Панам на поругу!
Білому царю послужити,
Панам угодити!

Теперь приступим к обозрению характера малорусской женщины. Тип женщины в малорусской народной поэзии рисуется самыми яркими красками оттого, что половина малорусских песен может по преимуществу назваться женскою. Только исторические думы, казацкие, военные и некоторые бурлацкие песни принадлежат мужчинам, вся масса песен обрядных: веснянки, колядки, петровки, купалки и свадебные поются исключительно женщинами. Особенно в последнее время песенность малороссийская становится достоянием женского пола, и потому на всей поэзии малорусской лежит отпечаток женственности.

Тип женщин в песнях разделяется на два вида, которые соответствуют двум периодам женской жизни: первый вид — девица, второй — замужняя женщина.

Характер девицы — поэзия, это ее сфера. Как в произведениях искусства девица является идеалом поэтического **/165/** творчества, так и народная поэзия изображает в девице верх красоты, кульминацию женского существа:

Мужняя жона з мужем розмовляє,
Бідная вдова плаче-ридає;
А над тую дівчиноньку,
А над тую молодую
І на світі нема!

Но так как поэзия принадлежит двум способностям человека — воображению и чувству, то и тип девицы выказывается в двух периодах ее жизни: первый есть тот период, когда девица предана воображению; второй, когда она предается чувству. В первом мы видим характер девицы в то время, когда в ней еще не пробудилась потребность полной жизни и вся деятельность ее направлена к тому, чтобы поспешить насладиться блаженным коротким незнанием. Этот период заключается в играх, обрядах и особенном цикле поэзии — обрядных песнях, сопровождающих невинные занятия молодости. Здесь открывается нам жизнь, полная гармонии и внутренней связи с природою. Таким образом многие девичьи игры — подражания явлениям физической природы и называются именами птиц, деревьев и т. п., напр., журавель, галка, тополя и т. п. Девицы, собираясь в хоровод, изображают то, что видят в природе. Песни, сопровождающие эти игры, носят форму описательную, аллегорическую, впрочем без умышленного какого-нибудь применения; аллегория состоит в том, что существам физического мира придаются человеческие атрибуты. В других песнях видна глубокая древность; мифологический период выказывается мерцающими призраками в хороводах, которые носят названия Дуная, Дона, Даньчика, Кострубонька, в песнях, описывающих превращения в деревья и птицы, в отрывках о непонятных событиях с неизвестными и необъяснимыми именами. Наконец, есть третьего рода игры с песнями, в которых драматически разыгрываются различные происшествия человеческой жизни. К таким, например, принадлежит игра мать и дочь, в которой одна из девиц изображает дочь, готовящуюся к свадьбе по воле матери; вот, например, игра муж и жена, где изображается, что жена предается забавам и веселостям, и муж никак не заставит ее заняться хозяйством. Уж поросли и дети, надо выдавать дочерей замуж, а сыновей женить, а жена зсе гуляет. Муж употребляет ласки, жена ничего не слушает, наконец он начинает гнать ее прутом домой. Это все разыгрывается в хороводе с принадлежащею песнею; которая носит драматическую форму. Я приведу ее здесь: **/166/**

— Гей, жоно, додому!
Гей, суко, додому!
— Бісе-муже! Не піду,
Тебе бісом становлю.
— Гей, жоно, додому!

Гей, суко, додому!
Діти плачуть, їсти хочуть
Та йди, давай!
— Там на полиці
Дві паляниці
Та й сам дай!
— Та вже ж тоє поїли.
— Якої трясці схотіли!
— Гей, жоно, додому!
Гей, суко, додому!
Дочки плачуть, заміж хочуть
Та йди, давай!
— Там у скринищі
Та три плахтищі
Та й сам дай!
— Та вже тоє поносили!
— Якої трясці схотіли!
— Гей, жоно, додому,
Гей, суко, додому!
Сини плачуть, женитися хочуть
Та йди, давай!
— Там у боднищі
Три жупанищі
Та й сам дай!
— Та вже тоє поносили!
— Якої трясця схотіли!
— Чи видали ви,
Чи слихали ви
Мою жону на торзі?
— Не видали ми,
Не слихали ми
Твоєї жони на торзі!
— А я і сам бачу
І сам бачу!
— Хоч бачиш, та не озьмеш
Та не озьмеш!
— Та поїду я з торгу до торгу,
Та куплю я жоні якраз пояс!
Ой дай, жоно, та поміряю,
Чи в час, чи гаразд,
Чи не коротко?
А жона дметься,
Мірять не дається.
— Та, жоно моя, жонухно,
Ревнивее серце моє!
Та поїду я з лісу до лісу,
Та наріжу я дубців-крупців,
Та стану я жону бити-карати!
Та, жоно ж моя, жонухно,
Ревнивее серце моє!

Это выражение невинного юношеского периода жизни, когда дума только что начинает покрывать лицо, когда все еще ново и самые неприятности жизни представляются легкими. Вот собираются девицы в хоровод:

Грайте, дівочки, грайте!

Время девичества коротко, надо же его провести так, чтоб чем помянуть в старости; это философия малороссиянки, ее подсказывают даже родители:

Гуляй, доненько, скільки хоч,
Двічі молодою не будеш,
Як заміж підеш — забудеш,
Як стара станеш — згадаєш.

Еще пока сердце не знает любви, пока не познакомилась девица с ее радостными мучениями и мучительным наслаждением, она весела, шутлива, беззаботна; вот сходятся дивчата с парубками, дивчата подсмеиваются над их одеждами, рассказывают, как на торгу продавали молодцев с девицами:

По денежці молодець,
Як печений горобець;
По три копи дівочка,
По чотири кісочка.

Или как «хлопці» путешествовали

Сім літ та по запічку,
А чотири та по припічку; **/167/**

или как ездили на охоту, поймали комара и

Стали суди рядити,
Як комара ділити:
Сьому-тому по стегну,
А Якушці тулупець,
Що хороший молодець,
А Ільковi печінка —
Обірвався з причілка,
А Стецькові хвостище,
Що великий хвастище.

Эти шуточные картины наивны, милы и не оскорбляют стыдливости, потому что их рисует скромное девичье воображение. Но среди сладкого забытья пробуждается в юной душе чувство темное, которое хотя неясно, но уже беспокоит сердце, это предвкушение жизни, первый шаг к горькому сознанию. Что-то будет с девицей? Не заглушит она сердечного голоса звонкими песнями, топотом хороводов. Плетет она барвинковый венок:

Ой вінку, мій вінку, хрещатий барвінку!
Я ж тебе звила вчора звечора...
Та коли б я знала, що з немилим буду,
Я б гірший звила.

Сколько ни веселись дивчина, а придет пора, когда распрощается она с своей «воленькою», начнутся тяжелые заботы, тогда другие дивчата пройдут в свою очередь гулять на зеленый луг, а она будет хлопотать около печи, горшков и домашних птиц. Даром «її кохав батько, годувала мати», не для нее цветут в садике цветики, пройдет пора наряжаться в сельские наряды и веселиться, дай только Бог, чтоб она «пішла за милого».

Но вот другой период девичьей жизни, сердце ее бьется, голова горит, это пора любви, когда тайна существования земного открывается для нее. Вместе с сладостями любви она познает и горечь жизни. Как несмело она переступает за порог незнания! Сколько препятствий останавливает ее: девическая стыдливость, боязнь родителей, опасение, чтоб ее не обманули, страх худой славы, чтобы на нее дурно не говорили, как все это ее смущает! Казак зовет дивчину «на улицю»: «батько у неї добрий, а мати старая» не пускает «доньку на улицю» за тем, «що вона молодая», чтоб «не загубила своєї долі». В сладко-тревожном ожидании сидит она на одинокой постели, «поки свічечка згасне, батенько засне», выйдет на улицу, кругом боязливо оглядывается, «не подоба дівці проти козака виходити, узнають люди — будуть осуждати», а заметит мать, будет бить ее «ключем» от коморы за то, что у нее есть «чорнобровий». Боится она и самого парубка, не знает еще, любит ли он ее или «тільки сміється». Но доверчивое сердце скоро покоряется клятвам и уверениям, и девица лю-**/168/**бит так, что уже не чувствует отдельно существа своего. Любовь малороссийская носит дух патриархальности: девица смотрит на милого не только как на любовника, но как на покровителя:

А хто мене та без тебе, серденько, пригорке?

Он для нее дороже отца и матери:

Батько милий, мати мила, миленький — миліший.

Всем она пожертвует ему: попроси у нее чего-нибудь отец, мать, сестра, она б им отказала, попроси милый — для него нет ничего заветного. Если б он тонул, дивчина с радостью бросается в воду и лишится жизни, только бы спасти милого. Если б он ее покинул, перестал любить, дивчина не забудет его, пожелает ему счастья с другой, а сама будет питаться своею горестью, ничем в свете неутолимою:

— Буду Бога я просити, щоб ти був щасливий,
Чи зо мною, чи з другою, повік мені милий.
Як не схочеш, серце моє, дружиною бути,
То дай мені таке зілля, щоб тебе забути!
— Єсть у мене таке зілля близько перелазу,
Як дам тобі напитися, забудеш одразу!
— Буду пити через силу, краплі не упущу,
Хіба тебе я забуду, як очі заплющу!..
(Макс. изд. 1, стр. 119).

Песен о разлуке очень много, и все они проникнуты грустью. Вообще в любви дивчины малорусской мало пламени и страсти, она более тиха, томна и спокойна; но оскорбленная святыня сердца мстит за себя иногда слишком отчаянно: в малорусской поэзии резко отделяются от других и по содержанию и по чувству те песни, в которых девушка отравляет своего любезного за измену. Приведем здесь одну из них:

— Ой сон, мати, сон головоньку клонить!
— Отсе тобі, мій синочку, своя воля робить,
Що до тебе, мій синочку, сама дівчина ходить.

— Нехай ходить, нехай ходить, вона вірно любить,
Вона мені, молодому, дружиною будеть.

У дівчини чорнявої весь двір на помості,
Та позвала дівчинонька козаченька в гості.
Поставила козаченьку пиріг на талірці.
В первім розі у пирозі шевлія та рута,
В другім розі у пирозі лихая отрута.
Ой не вспіла дівчинонька край віконця сісти,
Поспішився козаченько той пиріг із'їсти.
Вийшов козак із сіней, за серце береться,
Стоїть дівка на порозі, з козака сміється.
— Ой не смійся, дівчинонько, далебі не смійся,
Я у тебе, молодої, отрути наївся.
— Тоді тобі, козаченько, ся отрута минеться,
Як у полі при дорозі сухий дуб розів'ється!

Тип малорусской девицы высказался в последний раз самыми резкими чертами в свадебных песнях. Два чувства **/169/** волнуют ее и соответствуют двум периодам ее жизни, какие мы показали. Дружки поют о том, что чувствует, что думает молодая: невесте жаль «батенька», жаль «матінки», жаль своего «дівуваннячка», жаль своих игр, своих лент, веселость увядает под тяжестью житейского бремени. С другой стороны, в ней господствует любовь сильная и возвышенная. Таким образом, предметом свадебных песен бывает: или сожаление невесты о минувших радостях юности, или же выражение любви к жениху. Брачную жизнь не представляют ужасной для невесты, как напр., в песнях великорусских, где поется:

Ступишь ли ногой —
Поглядят все за тобой,
Махнешь ли рукой —
Засмеются над тобой,
Молвишь ли словечко —
Передразнивать начнут,
Сядешь ли за стол —
Все куски во рту сочтут,
Станешь молчать —
Станут дурочкой величать!
(Сахар. Свад. пес, стр. 149).

Такое несчастное положение не угрожает малороссиянке. Если дружки и говорят, что у свекрови не будет ей так хорошо, как у отца, то это больше потому, что жизнь замужней женщины посвящена труду и заботам, но здесь не должно видеть того ужасного положения женщины, в котором тиранство мужчины делает из нее бессмысленное орудие. Великорусская невеста плачет, и нельзя не плакать, когда загодя грозят, что муж будет бить ее плетью шелковой. Украинку спрашивают:

Чого, Марусенько,
Чого, пануненько,
К столу припадаєш?
Либонь, лихого свекра маєш?

Она отвечает:

Чи лихого, чи не лихого:
Не буде, як батенько!

«Плаче наша ластівочка» не потому, что думает дурно об свекрови, а потому, что «свекруха — не матінка» (Русск. весил., стр. 129), это любовь к родителям, которая только и может послужить залогом любви супружеской. Вообще по малороссийскому понятию брак есть акт жизни священный, торжественный, свадебные песни проникнуты религиозностью и особенно прелестны те из них, которые поются сироте. Над невестою раскрывается небо, душа усопшей матери стоит пред престолом Христа и просит, чтоб он позволил ей сойти на землю, посмотреть на свое «дитя»:

Чи хороше наряжене,
Чи в час посажене? **/170/**

Вот свободная душа слетает на землю, взглянет на девицу и опять возвращается на небеса вместе с радостным чувством, что дочь ее вступила в священный союз, но и с грустным, потому что видит, как все на земле ничтожно пред жизнью небесной.

Счастливый брак приносит благословение Божие и счастье земное:

Де муж з жоною у любові живе-проживає,
Там святий Миколай на радість уступає.

«Молодиця», замужняя женщина, встречается большей частью в песнях шуточных или же в таких, где описывается несогласие брачной четы. Мы уже заметили, что счастливая жизнь супружеская исчезает из песен потому, что слишком однообразна. В пример несчастного супружества, измены жены мужу можно привести песню о Семене и Катерине, напечатанную в первом издании Максимовича. В Галиции есть песни, в которых описывается убийство мужа женою с таким же зверством, каким отличаются злодеяния мужьев. Такова, наприм., песня о Параске в сборнике Вацлава из Олеска. Иногда песни о горестном положении замужней женщины проникнуты жалобами на родителей:

Десь ти мене, мати, на місті купила,
Що ти мене, мати, навіки втопила!
Ой мати моя, що ти гадала,
Що за нелюба світ зав’язала!
Та було б не рубати зеленого дуба,
Нащо ж було брати, коли я не люба.
Та було б не рубати зеленої вишні,
Нащо ж було брати, коли не до мислі!
Та було б не рубати зеленого гаю,
Нащо ж було брати із іншого краю!
Ой мати моя, калиновий цвіт,
Що зав’язала за нелюба світ!
Лучче мені, мати, гаряч пісок їсти,
Ніж із нелюбом вечеряти сісти!
Ох мати моя, що ти гадала,
Що за нелюба світ зав’язала!
Лучче ж мені, мати, тяжкий камінь зняти,
Ніж із нелюбом та вік коротати.

Не всегда несчастье замужней женщины происходит от тиранской воли родителей. Часто неопытная девушка сама бросится в пропасть и после того плачет, когда уже нельзя ничего воротить:

Бідная моя головонька,
Нещасная моя доленька,
Матуся в мене не рідная.
Посилають мене по воду
Незобуту, незодягнену
І головку непокритую,
Як побачить рідний батенько:
«Не плач, дитя моє милее, **/171/**
Ні на батенька, ні на матінку,
А плач ти на свою воленьку,
Що попалась у неволеньку!»

Но другая сторона, в которой выказывается «молодиця», чаще является в малороссийских песнях: это сторона шутливая. Таких песен очень довольно, многие проникнуты малороссийским юмором. Такова, наприм., песня «Била жінка мужика» (Макс, изд. 1, стр. 138) или «Чи я в мужа не жона» (там же, стр. 132).

Если в состоянии девицы женщина является достойною любви, то есть другой тип, в котором она достигает высокого уважения: это мать. Мы уже несколько раз имели случаи заметить, что материнское благословение у малороссиян считается не только залогом счастья на земле, но и блаженства небесного. И потому мать дороже и милее всего на свете. Спрашивает мать сына, кто ему милее:

Чи жінка, чи теща,
Чи ненька рідненька?

Сын отвечает:

Теща для привіту,
Жінка для совіту,
Матінка рідна
Лучче всього світу.

Это уважение, во-первых, основывается на естественном чувстве, во-вторых, на религиозности, но кроме того еще и на благодарности. Мать, родив сына в болезнях, занимавшись его младенчеством и заботами, имеет право требовать, чтоб все это помнили, и признательный сын не забудет, чему одолжено дитя своей матери:

Як мною ходила,
Своє серце в'ялила,
Як мене родила,
В Бога смерті просила,
Як мене колихала,
Темної ночі не спала.

Мать изображается всегда с безграничною любовью к детям. В одной думе говорится, что сыновья выгнали старую мать, и она принуждена была жить у соседей работницею, каждый день заливаясь слезами. Бог наказал неблагодарных сыновей: не стало у них

хлеба, в доме пошло все кверху дном, забыли их друзья-приятели. Сыновья раскаялись и пошли просить мать свою в дом. Мать простила их тотчас, потому что

Хоч мати кляла-проклинала,
А все думала-гадала,
З моря душу виймала,
Од гріхів одкупляла.

Так-то и в самые жестокие минуты огорчения мать не может расстаться со своим чувством. Любовь матери выше всего; ни сестра, ни жена не могут так любить. Любовь матери **/172/** бескорыстна. Эта любовь не ограничивается одним чувственным попечением, напротив, она разумна и сознательна более, чем какая-нибудь другая любовь. Мать заботится о своем дитяти, хочет дать ему нравственное добро. Всякий дурной поступок дитя скрывает от матери, ибо материнская любовь неразлучна с нравственностью. Так девушка, которая бегает на улицу, боится, «щоб мати не знала».

Сестра у малорусов есть также лицо, достойное любви и уважения. Ссора брата с сестрою считается одною из причин наказания Божия над испорченным обществом рода человеческого:

Тим на світі хліб не родить,
Що брат до сестри не говорить,
Тим на світі не ладиться,
Що брат сестри цурається.

Сестра для брата — советница и поверенная сердечных тайн, но иногда между ними поселяется недоверчивость по поводу любовных дел. Дивчина боится брата, чтоб он не узнал об ее связях с парубком, а брат говорит своей милой, что сестра его «розлучниця» и мешает им соединиться. Есть песня, «як сестра отруїла старшого брата», чтоб выйти за молодого казака. В пример ужаснейшего греха приводится кровосмешение брата с сестрою. Сказка говорит, что брат, не зная, хотел жениться на сестре, но она пред свадьбою провалилась сквозь землю.

Жизнь женщины заключается в кругу семейства, и до сих пор мы видели ее в различных положениях семейного быта. Но есть еще один тип, где она не принадлежит уже к семейству. Это тип знахарки (ворожеи). Преимущественно все волшебные и суеверные отправления находятся в руках женщин, особливо старых, так что самое слово «стара» указывает на ее знание волшебства. Это ремесло, которым занимаются старухи, до чрезвычайности распространено между малорусами и разделяется на виды. Женщина, знающая тайные силы, может употреблять свою науку и на добро, и на зло человеку. Есть ворожеи, которые лечат, заговаривают и всегда приступают к делу с молитвою и желанием добра ближнему, но есть ворожеи злые, которые знаются с бесами, портят людей и делают всякое худо. Отравление ядом также причисляется к волшебству. Впрочем, ведьма упоминается в песнях мельком и редко. Подробное рассмотрение ее принадлежит народной демонологии.

V. *Пан*. Народная поэзия как достояние многочисленного класса выражает более быт простого народа. Впрочем, есть песни, в которых являются лица класса высшего: владельцы, паны, шляхтичи, из которых многие были природные поляки, **/173/** а большая часть чисто русские, но уже принявшие польские нравы и характер. Это причиною, что старинная аристократия рисуется не в выгодном свете. В народных рассказах и песнях приписывается панам буйство и своеволие; таким образом осталась еще и поныне память об удальстве пана Каневского [156], о котором заднепровские старожилы рассказывают, как приволжские старики о Пугачеве [157]. Встретив в Немирове хоровод девушек, он погнался

за одною из них — дочерью бочара, девушка побежала от него, предостерегаемая добрыми людьми; гайдуки погнались за нею, поймали, и пан хладнокровно застрелил ее «з рушниці». Галицкий вариант этой песни влагает в уста пана Каневского такое панское сожаление:

Хорошее дівча було — мусивем стріляти!
(Вац. из Ол., стр. 449).

Как свидетельство сластолюбия и подобного зверства может служить история Немеривны.

У какой-то старухи была дочь. Пан напоил мать ее и купил у нее право взять к себе девушку. Несчастная, проживши у пана день, убежала пешком, босая, по выжженной степи. Пан бросился за нею в погоню и рассерженный резкими ответами Немеривны:

Сам не молод, та й сам єси не до мислоньки моєї!

привязал ее к коню и потащил по терновикам. Немеривна, окровавленная, избитая, попросила ножа у пана, чтоб вынуть из ног шипы, и ударила себя в сердце. Пан взял мертвое тело и повез к своей матери, которая прехладнокровно сказала ему: «Вези, откуда взял». Пан везет ее к Немерихе и с адской иронией говорит:

Везу тобі твою дочку п'яненьку,
Упилася, тещенько, од коня,
А заснула, тещенько, од ножа.

Другая подобная песня свидетельствует о том ужасном отвращении, какое питали малороссияне к этим сластолюбивым панам. Какой-то пан, по прозванию Шенделеченко, поехал сватать девушку у старухи. Мать согласилась, дочь не захотела, наконец решилась исполнить волю матери. Чрез несколько дней Настусенька убежала домой, несмотря на все ласки пана. Шенделеченко прибежал за нею, но увидел ее мертвою. Настусенька, попросив у матери ножа отрезать «полотенця», закололась. И сплеснул пан руками:

Не схотіла Настусенька жити із панами!

Во времена возмущений жестоко отплачивали панам ненавидящие их подданные: тогда все припоминалось. Я укажу здесь на прекрасную песню об Левенченке. Молодец разгулял-**/174/**ся, пил вино, «придбав собі» вороных коней и дорогих одежд; несмотря на увещевание старой матери не слушался пана, рубил заповедный его лес, был пойман и брошен в преисподнюю. Там сидел он долго и узнал, что уже третье лето наступило со времени его заключения, от проходивших девушек, которые бросили ему в окошко цветок. Наконец гайдамаки разбили замок и освободили Левенченко. Песня кончается так:

Та лежать пани порубані-посічені,
Вони од Левенченка не втечет.

Тогда в отмщение за Бондаривн и Немеривн отчаянный казак, разорив замок, убивал владельца и поступал, как хотел, с несчастною панною, преданною в жертву его грубому сладострастию. Подобно пану, привезшему мертвую Немеривну к воротам ее матери, гайдамаки привозят весть пани Марусе о том, как они купили у ее пана коня:

В холодній криниці могорич запили,
На гнилій колоді гроші полічили,

Під гнилу колоду пана підкотили.

И те, у которых еще не зажили спины от роковых канчуков, заливаются страшным смехом при виде сожженного замка и замышляют, что им делать с панами, и выдумает какая-нибудь умная голова:

... а я знаю, що робити:
Молодого того пана до стіни прибити.
Ой прибити руки й ноги та ще й меж плечима,
Та щоб він на нас дивився чорними очима! [158]
(Вац. из Ол., стр. 81).

Совсем иное понятие о пане русском, пане, слуге царя православного получили малорусы после счастливого соединения их отечества с Великою Россиею. Вражда к панам заменилась уважением таким, что в одной религиозно-нравственной думе одною из причин гнева Божия на мир поставляется неуважение подданных к господину:

Ой тим же ми в пана Бога ласку утеряли,
Шо ми своїх панів-господ усе прогнівляли.

VI. *Жид*. Подобно, как дворянство, принадлежа политически к Малороссии, существовало вне оной, еще менее входил в состав малороссийского народа жид, слуга пана, орудие его воли. Несчастные дети Израиля везде пили горькую чашу, но везде умели хитростью и уловками приобретать богатство и, несмотря на свое унижение, играть значительную роль. Известно, что в западной и южной России жило и теперь еще живет множество евреев. Будучи предметом ненависти и презрения христиан — католиков и русских, нигде так не пользовались они выгодами, как в Украине. Причины тому были: во-первых, обычай отдавать на аренду помещичьи имения, во-вторых, крайнее унижение русского народа и, нако-**/175/**нец, нерадение малорусов в занятиях торговыми промыслами. Таким образом, хотя жид никогда не выходил из титулов: мерзенного иуды, собаки, но взявши на аренду панское имение, до того властвовал над презиравшими его русскими, что заставлял, как рассказывают старожилы, бедного украинца продавать ему барана за злотого, потому что от пана был выдан приказ никому ничего не продавать, кроме жида. Когда наступила отчаянная борьба русского народа с польским, жиды попались, как говорится, между двух огней. Поляк всегда готов был выставить жида на убой, чтоб избегнуть самому беды. Ненависть к ним малороссиян возросла еще несравненно более с тех пор, как они брали на откуп церкви. В одном Баре Кривонос перерезал их до 15.000. Казак, шутя, убивал жида и мучил его без всякой жалости. В одной песне говорится, что казак приехал к жидовке и начал волочиться за ее дочерью. Хаюня до того доверилась казаку, что решилась с ним бежать. Но казаку нужно было не молодой жидовки, а денег и имения старой матери. Когда рано в субботу родные ушли в синагогу, казак подъехал к двору с тремя возами:

На перший віз брали скрині, перини,
А на другий віз брали гроші золоті,
А на третій віз сідали — гой! гой! — вони обоє.

Но едва только выехали они на мост высокий, как

Кинув Івась Хаюню у Дунай глибокий:
«Плавай, Хаюню, від краю до краю,
Коли-сь не знала нашого звичаю».

(Жег. Паул., т. II, стр. 19).

Малорус изображает жида до крайности трусливым и смешным в минуты опасности. Приехал, говорит песня, казак к жиду на шабаш и начал требовать у него денег. Жид отвечает, что у него нет денег, что он заплатил за чоп (старинная подать за шинкованье). Казак грозит его убить — и жид отдает ему деньги. Недовольный этим, казак приказал позвать жену жида. Жид отвечает, что она куда-то ушла; казак опять начал грозить — и жид позвал свою Хаюню. Наконец казак приказал ему танцевать. Жид отговаривался тем, что у них шабаш. Но когда казак повторил опять прежнее, жид начал отплясывать, припеваючи:

«Ой трандаром! Трандаром!
Перед паном Федором!

А ты, шабаш, извини, — прибавил он: — сам видишь, что мне беда приходится» (Жег. Паул., т. II, стр. 42).

Подобных анекдотов очень много. Все эти рассказы хорошо показывают положение жидов в беспокойной Малороссии. Осталась память об одном пане, который поймает было жида, заставит его креститься, потом посадит на дереве, прикажет **/176/** кричать по-кукушечьи и застрелит. Зато, попавшись в беду, особенно во время вражды поляков с русскими, жиды умели следовать пословице: «Поможи, Боже, вашим и нашим». В памяти народной остались те прекуриозные штуки, которыми так отличались жиды. Если казаку нужно было сделать что-нибудь необыкновенное или вывернуться из опасности, то никто так ему не мог услужить, как жид. Русский в простоте сердца изумляется проделкам жида, ему никогда так не выдумать, да и никогда он не унизится до того, чтоб ему выдумывать.

Отвращение к жидам дошло до того, что народная фантазия в образе его выводит дьявола-искусителя, который для обольщения принимает человеческий образ. Ничего нет приличнее, как явиться ему в образе жида. В сборнике Вацлава из Олеска есть песня, где дидко Мальхемус приехал в жидовскую школу и взял с собою жида Мошку (Вац. из Ол., стр. 401). При всей ненависти к жидам есть в них одно достоинство, которое сознают малорусы: это твердость их в вере праотцов. Пословица говорит: «Над жида нема кріпшого в вірі».

VII. *Цыган*. Сколько презренен жид, столько же презренен, хотя не столько ненавистен, цыган. Народ изображает его обманщиком, вором, но притом неуклюжим и смешным, с особенной тупостью ума, которая мешает ему найтиться в минуту опасности. Но цыган при всей его неповоротливости — чрезвычайный хвастун и нередко выигрывает своим уменьем кстати солгать. В одной сказке цыган, самый тщедушный, переспаривает в силе черта, беспрестанно хвастая, что он сделает то и то. Цыган старается везде хитрить: выказывает притязания на тонкие и хитрые выдумки и остается дураком. Так, например, цыган решился зимовать в сажалке в той надежде, что уже прошло Рождество и время идет к Великому дню, следовательно, большого холода не будет. Цыган изображается волокитою, но всегда неудачным и осмеянным. Ему приписывается крайняя неточность в исполнении данного слова. Обыкновенно, если кто не держит слова, того называют цыганом. Цыганка, напротив, в народной поэзии изображается не только не глупою, но обладающею сверхъестественною силою — волхвованием. Она колдунья, ворожея, узнает по ладони судьбу человеческую, знает средства возбуждать любовь и способна таинственными словами сделать человека в одно мгновенье счастливым или несчастным на всю жизнь. В одной песне цыганка по просьбе девушки отрезала ей косу, сожгла и приказала настоем из этого пепла поить казака (Макс, изд. 1, стр. 94). В заклинаниях старых баб есть цыганские слова, заимствованные от цыганок.

Мы бросили взгляд на те лица, которые хотя существовали в Малороссии, но не принадлежали к южнорусскому народу. **/177/** Теперь посмотрим, как этот народ понимал народы чужие, имевшие с ним историческое соотношение. Эти народы: 1) ляхи (поляки), 2) москали (северные русы) и наконец 3) татары и турки.

1) *Поляки*. Нет нужды повторять тысячу раз сказанное и всем давно известное, что малорусы питали закоренелую ненависть к полякам, своим единоплеменникам славянам, но разноверцам. Народные песни могут подтвердить эту истину сотнею примеров, но все они привели бы нас к тому, что, к несчастью, мы слишком знаем. Лучше посмотрим, какие качества народ приписывает своим врагам.

Первое качество, отличающее ляха, есть то, что он католик, недоверок, то есть человек не неверный, не басурман, но такой человек, который верит не так, как должно. Католик в глазах украинца и прежде был и теперь остается в невыгодном свете. Иногда религиозная ненависть простиралась до того, что католика называли вовкулакою; о Савве Чалом говорит песня, что коль скоро он сделался католиком, то зазнался с бесами и стал «знахорювати». Второе качество есть то, что он враг Руси, русской веры, русского народа: так привыкли смотреть на него малорусы. «Не день, не два ляхи Україну плюндрували, добрі молодці добре Україну плюндрують; завладіли неправдиво краєм нашим ляхи, та немає лучче, як у нас на Вкраїні та немає ляхів» — вот выражения из песен, которые показывают, в каких отношениях были два народа между собою. Лях изображается коварным. Песни подтверждают событиями справедливость такого мнения. Так, например, сотника Гонту [159] паны

...насамперед барзо привітали,
Через сім днів з його кожу по пояс здирали.
(Макс, стр. 126).

Не лишним кажется заметить здесь, что и малорусы считали себя вправе поступать таким же образом с поляками. Так, например, при взятии Нестерова в 1648 году казаки дали слово отступить от города, а потом бросились на замок и произвели страшное кровопролитие (Pamięt o wojnach koz. стр. 9). Во время уманской резни сотник Гонта, присягнувши служить королевству, на другой же день соединился с Железняком [160].

Вообще вся история кровавой вековой распри двух народов запечатлена коварством и беспрестанным нарушением слова с обеих сторон.

Поляк изображается охотником пить, гулять, бражничать. «Що ти за дорогими бенкетами уганяєш?» — говорит в песне господарь молдавский Потоцкому (Макс, стр. 41). В думе о **/178/** трех полководцах («Запор. стар.», ч. I, стр. 103) казаки говорят, что ляхи с их костей сварят себе пир. В этой горькой иронии враги народа русского изображаются с своими слабостями. Насмехаясь над пышностью, с какою поляки выезжали в поход, малороссияне, вспоминая пленных польских гетманов, говорили:

Поїхали з бучністю до Криму ридвани,
А вози скарбовії козакам остали,
Або з їх худобу свою полатали.

Народная память сохранила рассказы о своеволии и ссорах панов между собою. Намеки на это находятся и в песнях и в пословицах, например: «Нема добра в нашім селі, бо панів багато».

Есть пословица: «Пани скубуться, а в мужиків чуби болять». Малороссияне насмехались и над приверженностью шляхтичей к свободе: «Хоч спина гола, та своя воля» и над избранием в короли: «Не вмію ні читати, ні писати — мене хочуть королем обрати».

Лях изображается также беспечным и нерассудительным, например в этих пословицах: «Як коня вкрали, так він і конюшню замкнув», «Дожились поляки, що ні хліба, ні табаки». Лях изображается также хвастуном. Во многих песнях найдете выражения: «Хвалилися ляхи-пани» и пр. В думе о Чигиринской битве ляхи в знак презрения к русским заранее выставляют им перед глаза орудия казни. В песне о Пилявской битве рассказывается, как храбро и бодро выходили ляхи на войну, и все кончилось тем, что только казаки ударили с пушек, то

Ляхи як стояли, то так і пропали,
Тільки одні козаченьки в сурми сурмовали.

Нигде не было столько всесветных пройдох, искателей приключений по белу свету, готовых быть чем хотите, как между шляхтичами. Стоит только вспомнить нашествие поляков на Россию в начале XVII века. Из каких молодцов составлены были ватаги Лисовского [161], Сапеги [162]? Кого не было в войске Тушинского [163]? Такой всесветный шляхтич является в думе о Самойле Кишке. Это лях Бутурлук [164], сотник переяславский, который «для панства великого, для лакомства нещасного потурчився, побусурманився», который бил по щекам своих единоземцев малорусов, а потом подседал к ним с предложением изменить христианской вере, но когда казаки побили турков, он униженно просил Самойла о пощаде. Гетман оставил его в живых «за яризу войскового» (Малор. и черв. дум., стр. 13 — 27). **/179/**

Впрочем, малорусы ненавидели в ляхе не поляка, а «пана». Оттого всегдашний эпитет ляху — «ляшки-панки» или «пани ляхи».

По прекращении религиозных беспокойств в Малороссии ожесточение против поляков угасло. В позднейших песнях лях представляется только вертлявым, ветреным волокитою:

Ляшок гожий, ляшок милий...
. . . .
. . . .
В ляшка шабля, в ляшка вуси,
Не жаль мені поглянуться,
В ляшка очко чорненькоє,
В ляшка тіло беленькоє,
. . . .
Чисто оголився,
В жупан вистроївся,
Гузи йому у кунтуша...

Но в любви он не верен:

Три дні мене любив,
На весь вік загубив!

Старые люди смотрят невыгодно на волокитство ляхов за женами и девушками. В одной песне говорится, что мать гнала свою дочь от ляха, которого девушка полюбила за то, что

А у ляха вершок низький, широкі опушки.
(Вац. из Ол., стр. 225).

В другой песне рассказывается, как лях подманил из Киева малороссиянку, но братья догнали его и изрубили, несмотря на просьбы сестры (Макс., изд. 1, стр. 121-123). Видно,

женщин не слишком занимали политические дела, и поляк не был им так противным, как гайдамакам.

2. *Москаль*. Несколько веков отдельной особой жизни на севере и юге России произвели различие между жителями двух краев русского государства. Несмотря на соединение Великой России с Малою, жители той и другой смотрели друг на друга как на особенные народы, тем более бросались им в глаза индивидуальности, что между ними главное, коренное, общее — все было единое. Вера одна, взгляд на веру несколько разный; язык один, наречия разные, главные понятия жизни одинаковы, обычаи разные. Сблизившись друг с другом, они начали рассматривать покороче эти особенности и находили недостатки, от этого рождались взаимные насмешки. Многие пословицы малороссийские укоряют великорусов в тех качествах, которыми великорусы в самом деле резко отличаются. Наприм., пословица: «Коли москаль каже: сухо, то піднімайсь по уха», кажется, намекает на русскую отвагу, для которой все трынь-трава, с которой великорус по врожденной склонности ищет опасности. Пословица: «Мос-/180/каль зна дорогу, та ще пита» относится к словоохотливости великоруса, сильно противуположной с угрюмым нравом и лаконизмом его соплеменника. Поговорки: «Прив'язався, як москаль», «Од чорта одхристишся, а од москаля ні відхристишся, ні відмолишся» — есть укоры великорусу в привязчивости, несносной для малоруса. Много есть народных анекдотов о москалях. Все они так же смешны, как анекдоты, которые рассказывают москали об украинцах и прекрасно характеризуют тех и других.

Едва ли что может подать нам яснейшее понятие о постепенном сближении великорусов с малорусами, как филологический взгляд на песенность малорусскую. Малорусы так усваивают нравы, понятия, язык великорусов, что поэзия старая уступает поэзии новой, рождающейся из смешения обоих элементов. Язык нынешних песен ни великорусский, ни малорусский: это особенное наречие, и неправильно почитают его испорченным; оно образовывается не случайно, а вследствие необходимости. Эти песни проникнуты особенным духом, в котором видны элементы и великорусской, и малорусской жизни.

3. *Неверный*. Татарин и турок у малорусов соединяются в одном понятии неверного, «бусурмана, бузувіра». Войны с неверными, о чем было говорено, образуют в народных песнях особенный исторический цикл. Неверные — враги христианства, а потому с ними должно быть во всегдашней вражде, их не надобно жалеть. Татары уводят «жінок та дівок, загоняють усю божую скотину у свої джерела» («Запорож. стар.», час. I, стр. 77) и превращают в пепел русские села. Пленников у татар ожидали самые горькие несчастья. Не знаючи ни будня, ни воскресенья, они содержатся на галерах, в кайданах, под палками. Счастье, когда отец или мать или родичи выкупят невольника, если узнают, где он «пробуває: в пристані ли кехвської» или «в городі Козлові», или «в Царграді [165] на базарі»; если же не узнают, то пропал бедняга: он или сгниет в преисподней темнице, или отправят его в «орабськую землю за Червоноє море» (Малор. и черв. думы, стр. 65). Чем знатнее пленник, тем хуже ему бывало в неволе. Случалось, что его нельзя было спасти, особенно если уж раз он был в плену да выкуплен и все-таки не зарекся мстить врагам Христа. Так, Морозенка раз выкупили из тюрьмы, — попался в другой раз под Шарогродом и погиб страшною смертью. Горька была судьба бедной «полонянки», которая, хотя бы одета в дорогие «шати», вспоминала об убогих «латах» в Украине. Бывали однако и такие женщины, что обживались и делались совсем татарками. Есть песня, где рассказывается, как татарин поймал девушку, женился на ней, по-/181/том лет через несколько поймал на Руси старуху, приводит ее на аркане домой и говорит жене: «Привел я тебе помощницу, из Руси работницу!» Заставили ее исполнять домашние работы. Бедная старуха все терпела. Только раз колышет она дитя и приговаривает:

Люлі-люлі, татарчатко,
А по доньці унучатко!

Бодай єси скаменіло!

Услышала это другая работница и донесла «господині», та — по щекам старуху. «Дочь моя, дитя мое! — закричала старуха. — И маленькую я тебя учила, а по щекам не била!» Дочь после напрасных молений жить с нею и носить «дорогії шати» отправила родную мать на Украину, а сама осталась в Крыму. Иногда сами малорусы, забывши Бога, продавали из своего семейства девушек татарам. В Галиции поют о какомто Романе [166], который продал туркам свою сестру Олену, но мужественная малороссиянка, завидев нежданных свадебных бояр, закололась:

Лучче тута погибати,
Ніж з турками пробувати.
(Жег. Паул., т. I, стр. 173-177).

Хотя магометанам и запрещено пить пиво, однако неверный иногда представляется гулякою. Так, Самойло Кишка воспользовался свадьбою Алкана Паши, напившегося допьяна, и ушел из неволи. В песне о Голоте (Малор. и черв. дум., стр. 49) татарин изображается в смешном виде; в песне о взятии Варны (Жег. Паул., т. I, стр. 134 — 136) турок колдун: «старенький ворожбит» показывает казакам, откуда можно взять город.

Татары в своих набегах были хитры и скоры. Вероятно, пословица: «Аби не лежачого татари взяли» вышла от неожиданности, с какою нападали на Русь татары, и хитрости, с какою они умели выбирать время, благоприятное для своих набегов.

Как ни противен был для малоруса татарин, но Малороссия так много заимствовала восточного, что казак сближался с своим врагом. Мать, разгневавшись на сына, прогоняет его из дому и говорит: «Нехай тебе орда візьме». Сын отвечает:

Мене, нене, орда знає,
Сріблом-злотом знаділяє.
(Макс, изд. 1, стр. 5).

Из песен видно, что малорусы служили у крымских ханов:

...служить він у хана,
В пана хана татарина,
У кримського добродія.
(Макс, изд. 1, стр. 10). **/182/**

Мятежные запорожцы, думая, что несправедливо уничтожили Запорожскую Сечу, говорят:

Велик світ, наша матушка,
Підем хану служити.
(Малор. и черв. дум., стр. 58).

В самом деле, они до того сблизились с «турчином», что когда

Зруйновали Запорож'є, забрали й клейноти,
Наробили сіромахам великой скорботи, —

тогда —

Стали наші запорожці під турка втікати,

Подписалось сорок тисяч під турчином жити,
Присягали турчинові, як москаля бити!..
(Малор. и черв. дум. и пес, стр. 66).

ГЛАВА VI

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Б. Об общественной жизни великорусов

Окончили мы обзор общественной жизни южнорусов. Перейдем теперь на север: тут иные события, не те лица, другие понятия. Не кипит здесь народ, будто в омуте, не страдает томительною грустью, не враждуют сословия одно против другого — не так здесь, как на юге. Власть понята и любима, народ в своей жизни стройно развивает идею, которую дал Бог на его долю — вот что представляется поэзии великорусов. Малороссия с своим гетманством блеснула на своде истории человечества, словно комета, и потом скоро унесли ее обстоятельства в бесконечное море прошлого. Защитился русский народ от врагов своих, соединилась половина Руси с другою... Что произвело это счастливое заключение? Казаччина! Она сделала свое дело, а потом слабеет, доживает свой век; здесь напротив: в Великой Руси все шло не быстро, не шумно, но постепенно. А что делается постепенно, то и прочно. Не для того жил великорус времен царства Московского, чтоб доставить своим внукам средства жить другою, лучшею, но чуждою для него жизнью. Не оставят дети языка и характера отцов своих. Стал народ русский просвещаться: вошла Россия в мощь и крепость, сделалась европейскою державою... И что же? Малороссия — эта колыбель русской общественной жизни с своими нравами, понятиями, языком и всем, чем можно было отличить малоруса, скоро будет принадлежать истории минувших дней. Великая Россия с своими нравами, языком, со всем, что составляло отличие великоруса в старину, все останется, как бы далеко ни зашел народ в образованности от своих предков. Следовательно, элемент малорусский нужен был только на время, а теперь кончил то, что мог произвесть для дальнейших веков; напротив — элемент великорусский есть фаз более продолжительный и не носит ни малейших признаков отжития и разрушения. **/184/**

Первое, главное лицо, связь и сила целой массы народа, у великорусов есть царь. Идея о царе соединяется у них с идеею о Боге, власть его на земле есть отражение божеской власти на небе:

Слава Богу на небе, слава.
Государю нашему на сей земле слава.
(Сахар. Пес. свят., № 1).

Прогневать высокую особу по народному понятию значит прогневать Бога:

Прогневил ты своею гордостью
Нашу мудрую государыню,
Прогневил ты самого творца.
(Сахар., стр. 234, Пес. солд. № 6)

От этого уважение к царю было так велико, что малейший знак противного считается у великоруса преступлением, достойным смерти. Так, например, казаки донские, народ, впрочем, строптивый и буйный, до того понимали обязанности почтения к высочайшей особе, что убили царского посланника, который, читая им указ, не снял шапки, когда упомянул царское имя:

Дочитался он до царского титула;
Казаки все шапки поснимали,
А большой боярин шапки не снял:
«Почитай ты, боярин, государя,
Не гордись перед ним и не слався».
(Сахар., стр. 22, Пес. каз., № 1).

Кроме такого уважения, царя и народ связывала обоюдная любовь, как отца с детьми. Царь обыкновенно называет своих подданных «детушки», а они его «батюшка». Вот как народная песня передает разговор Алексея Михайловича [167] с своими солдатами под Ригою:

Не одним то вам Рига наскучила,
Самому мне, государю, напрокучила,
Когда Бог нас принесет в каменну Москву,
А забудем мы бедность — нужду великую,
А и выставлю вам погребы царские,
Что с пивом, с вином, меды сладкие.
(Сахар., Пес. ист., стр. 257, № 6).

За то и подданные готовы были

...государю послужити,
Един за единого умрети.
(Сахар., Пес. солд., стр. 233).

Особенно любовь русского человека к своему монарху видна в том участии, какое народ принимает во всем, что касается царя, желая ему счастья, по своему, от глубины души:

Чтоб нашему государю не стереться,
Его цветному платью не изнашиваться,
Его добрым коням не изъезживаться,
Его верным слугам не измениваться,
Чтоб правда была на Руси, **/185/**
Краше солнца светла;
Чтоб царева золота казна
Была век полным полна.
(Сахар., Пес. свят., стр. 11, № 1).

Радость царя была радостью народа. Царь жил не для себя, а для подданных, равно как и подданные жили для царя. Событие в семействе царском касалось каждого: с восторгом поет народ о всеобщей веселости и пире, который отправляла Русь православная при рождении Петра Великого:

А князья сбирались, бояре съезжалися.
А все народ Божий. На пиру пьют, едят, прохлаждаются,
В весельи, в радости не видали, как дни прошли
Для молодого царя Петра Алексеевича,
Первого императора.

Равным образом плач и непритворная горесть следовала за кончиною монарха. Нельзя не привесть здесь замечательного отрывка, где сержант плачет над гробницею преобразователя России:

Что у правого у клироса,
У гробницы государевой,
У гробницы Петра Первого,
Петра Первого, великого,
Молодой сержант Богу молится;
Сам он плачет, как река льется,
По кончине вскоре государевой —
Государя Петра Первого.
В возрыданьи слово вымолвил:
«Расступися ты, мать — сыра земля,
Что на все ли на четыре стороны!
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися, золота парча!
И ты встань, пробудись, государь!
Пробудись, батюшка, православный царь!
Погляди на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Без тебя мы осиротели,
Осиротев, обессилели».
(Сахар., Пес. солд., стр. 232, № 2).

Народ приписывает царю безусловную справедливость и суд правдивый; нигде не видно, чтоб даже разбойник, ведомый на казнь, роптал против царя. Напротив, преступник сам несет царю свою повинную:

Гой еси батюшка православный царь!
Ты суди нас праведной расправой,
Повели над нами делать, что изволишь,
Ты волен над нашими буйными головами.
(Сахар., Пес. казац., стр. 238, № 6).

И вообще понятие о царе было так высоко, что ему не смели ничего приписать худого. Убийство сына Грозного приписывается наущению Малюты Скуратова. Тирания опричников **/186/** не оставила по себе следов, неблагоприятных для царского имени.

Монархическое правление имеет в своем основании то непременное условие, что с понятием о царе соединяется необходимо понятие о классе исполнителей власти — дворянстве, высшем сословии. Типом этого сословия является в русских песнях *боярин*,

ив нем-то очень выказывается резкая противоположность между понятиями южноруса и севернoруса. Пан на Украине есть в глазах народа выкидыш из общества, лицо, враждебное русскому человеку и далекое от него. Напротив, для великоруса боярин — человек почтенный, необходимый, достойный после царя занять первое место. Бояре, по выражению песни, вьются около царя, как ярый хмель около тычинки (Сахар., Пес. свят., стр. 14, № 22). Где царь, там подле него являются и бояре. Народ сочувствует ему, «боярину великому и хозяину ласковому» (Сахар., Пес. истор., стр. 255, № 3), в радостных и печальных событиях его жизни, с живым участием рассказывают «о почетных столах княженецких», влагает боярину свои речи, придает ему свои приемы, заставляет боярина по-своему грустить и печалиться. Возьмем для примера хоть песню о Шереметьеве [168] (Сахар., Пес. солд., стр. 234, № 9). Зная скорый свой поход под Полтаву и томимый каким-то предчувствием, боярин во время литургии

По частешеньку из церкви выходит,
К белой каменной ограде припадает,
Горючими слезами умывался,
Миткалевым платочком утирался:
«Уж тошно мне, боярину, тошнехонько».

Все касающееся боярина не было закрыто для простолюдина. Простолюдин только давал всему, к чему имел влечение, свой язык, оттого боярин Шереметьев и в песнях плачет на лад, свойственный простолюдину. Это показывает, что на Руси православной была общая гармония между классами народа, и русский человек любит все, что отзывается его родным духом.

Боярин в песнях народных изображается, во-первых, как начальник войска, во-вторых, как воевода, наместник царский в провинции. Глубокое участие к подчиненным, верность царю и любовь к нему воинов отличают полководца. Словно «золотая трубочка вострубила», спрашивает полководец у воинов:

Ох вы детушки, драгунушки, солдаты!
Можно ли мне на вас понадеяться,
Супротив неприятеля постояти!
(Сахар., Пес. солд., стр. 232, № 3).

Ласковое обхождение ободряет солдата, и всяк с русской удалью готов положить голову. Как пример благородства и **/187/** верности царю русского боярина может служить нам песня о разбитии под Конотопом [169] (Сахар., Пес. истор., стр. 257, № 7), равным образом описание погребения «его, правоверного слуги царя православного», исполненное глубокого чувства, интересно как выражение привязанности подчиненных к начальнику.

Боярин как наместник, воевода изображается не в благоприятном свете. И в самом деле, стоит вспомнить, что наши воеводы были очень часто в старину виновниками больших неустройств, нередко они ездили в провинцию с тою целью, чтоб «поживиться», и разоряли народ своим корыстолюбием. Жалобы на эти злоупотребления остались в песнях:

Они хвалят, величают православного царя,
А бранят они, клянут воеводу:
«Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное».
(Сахар., Пес. каз., стр. 237, № 1).

Но не всегда, однако, такие проклятия на воевод были следствием злоупотреблений со стороны их. Часто молодцы негодовали на воеводу, что он высылает «крепки высылки и ловит разбойничьи шайки». Особливо видна ненависть к боярам у донских казаков. Впрочем, есть примеры и сознания справедливости суда воеводы, так например, в песне о Карыгине (Сахар., Пес. каз., стр. 243, № 19) говорится, что воевода прежде был добр, а потом прогневался, рассердился и начал казаков «казнить и вешать за их буйство», остался один их главный «атаманушка» и пришел к воеводе сам с повинною, неся топор на свою голову.

Несколько песен о боярине свидетельствуют о том, как выступал боярин на бесславную, часто незаслуженную казнь. Вот ведут «князя боярина», сестра провожает его, она рассказывает о своей прежней службе и горькой кончине:

Голова-ль, моя головушка,
Послужила ты, моя головушка,
Ровно тридцать лет и три года,
С добра коня не слезаючи,
Из стремен ног не вынимаючи;
А не выслужила, головушка,
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни славы высокие,
А выслужила, головушка,
Перекладину кленовую
Да петельку шелковую.

Вид сестры плачущей заставляет его забыть собственное горе, он обращается к ней с утешением:

Молить Бога — не вымолить,
Просить царя — не выпросить.

Но вот привели его на сруб высокий: **/188/**

Помолился он Спасу-образу,
Поклонился он на четыре стороны:
«Помолите за меня, люди добрые,
За мои грехи тяжкие».

И отрубили князю голову буйную. В этой песне высказалась душа русского боярина: и уверенность в своей справедливости, и безропотная покорность судьбе. Таким-то изображают его народные песни.

За царем и боярином, типами власти, следуют классы народа, типы подчиненного, но все сословия, входящие в круг великорусского народа, не выказываются резко, каждый с своими индивидуальными чертами. Все сливаются в понятии русского человека. Причина этому естественна: вся масса народа была заключена в тесном кругу повседневного быта, который представлял мало поэтического, только жизнь семейная могла послужить источником поэзии. Но семейная жизнь была равным достоянием всех классов вместе, и потому каждый в особенности не мог проявиться в ней. Разумеется, есть черты, по которым можно различить кузнеца от купца, земледельца от рыбака, но они так малозначительны, что не могут сообщить каждому особенного характера, так, чтобы мы могли сказать, что известная черта может только принадлежать одному, а не другому. В малорусской нации один тип народный представлял собою в известный период целый

народ, так например, является казак: и название казака можно принять за название малоруса вообще. Далее явились чумак и бурлак: это переход от прежнего быта к новому; в этих двух типах — характер целого народа. Малорус по необходимости должен был иметь те движения и чувства, какие мы видели в чумаке и бурлаке. Наконец весь малорусский элемент остановился на земледельце. Во всяком из этих типов видим идею всего целого народа. В Великой России было не так. Эта страна не изменялась быстро и внезапно, народ ее не испытывал сильных переворотов, изменявших его существо — все шло постепенно. Поэтому народные сословия оставались в своей обыкновенной сфере, поэтическое их бытие ограничивалось семейством.

Но зато в глубине русской души хранится огонь порыва — проявить себя. Это так называемая прекрасно русским народным языком удаль, слово, едва ли понятное иностранцу. Это стремление стать выше повседневного быта, выйти из обыкновенной сферы действия. Это признак русской жизни: тип ее — удалец. Это не рыцарь средних веков: он не странствует для защищения веры и невинности, не знает ни девиза, ни чести, у него нет дамы, не ведает он, что такое турнир... Он **/189/** и не малорусский казак: черты рыцаря днепровского не по мерке ему, не пойдет он «слави лицарства добувати, за віру християнську одностойно стати»; он носит название бурлака, но не похож на бурлака южнорусского: бездомному сироте украинскому тяжело, потому что его жизнь бедна и горька, а жизнь этого роскошна, привольна, хотя непрочна, мгновенна. Одним словом, это такое поэтическое проявление сил русского человека, без какого характер русский не отличится от чужого. Удаль есть везде, где только возвышается великорус над обыкновенным ходом вещей, а потому тип удальца имеет свои различия. Вообще видов, в каких является удальство русское, я нахожу два: первый рисует удальца, когда он не принадлежит еще к известному кругу, а только стремится вырваться из того круга, в котором находился. С трудом узнаете, кто он: мужик ли, купец или ремесленник, но только он русский. Второй вид предполагает уже определенные формы, в которые удальство облекается, и удалец принадлежит к известному кругу, и в этом кругу — свой образ действия, свои приличные понятия. Первый вид заключает в себе то типическое лицо, которое по-русски называется «удалой добрый молодец». Во втором мы можем отличать, какие общества постепенно составляют удальцы. Эта удаль, вырвавшись из круга семейной жизни, в которой была удерживаема, идет дорогою противозаконною и образует такое сословие, которое не может быть терпимо в общественной жизни — шайку разбойников; потом брожение устанавливается, удальство мирится мало-помалу с гражданскими понятиями и образует сословие, больше, если не совсем, применительное к спокойствию нации — казачество. Наконец, та же самая удаль, которая громила спокойствие семейств, стала их защитою, подчинилась законной власти и нашла для себя еще третью сферу — солдатство. Они различны, но образуют формы русской удали, которая принимает их сообразно веку и национальному духу.

Мы займемся вначале первым видом «удали», типом удалого доброго молодца. Его можно найти везде в великорусских песнях, потому что это лицо было вначале исключением из обыкновенной жизни. Можно постоянно следить за развитием характера «удалого доброго молодца»: как одно влечет его к другому, как «кипит в нем ретивое, шатается бесприютная головушка». Разгул, «пиво крепкое, зелено вино» обыкновенно вначале сбивают его с толку и зажигают в нем буйство и молодечество. Собирается толпа ребят:

Веселые по улицам похаживают,
Гудки и волынки понашивают, **/190/**
Промежду собою весело разговаривают:
Да где же веселым будет спать, лежать.
(Сахар. Пес. раз., стр. 221, № 23).

Разумеется, не дома: потому что «батюшка станет бранить, а родимая журить, а в разгуляе-кабаке» (Сахар. Пес. раз., стр. 215, № 5) там и «чарочки по столику похаживают», там откуда ни возьмутся и «чужи жены, умны злодеюшки, прельстивы» (Сахар. Пес. раз., стр. 215, № 4); там то

Темна ноченька не спится,
Золота казна сорится.
(Сахар. Пес. сем., стр. 211, № 40).

И вот утром на похмелье, одуревши от ночного разгула, идет удалой молодец:

Из кабака идет — сам валяется,
Возле стеночки пробирается,
За вереюшку сам хватается.
(Сахар. Песни раз., стр. 215, № 6).

Привыкают ребята кутить далее и далее. Вот уж молодец хвастается, как они по ночам ходили:

...окна выбивали,
Красных девок доставали,
Доставали, целовали;
(Сахар. стр. 221, № 22).

и как зашли к старой бабушке да

Один начал плясать,
Другой начал играть,
Третий будто спать захотел —
И кубышечку стянул.

Напрасно родимая уговаривает его «со ярыгами, со бурлаками не ходить во царев кабак, не пить зелена вина», напрасно красная девица завивает «кудри русые по единому по волоску», молодцу не того надобно: ему хочется буйно прокатить лета свои, сердце молодца хочет покорить все и ничему не покориться. Одна милая

...его за ручку держала,
А другая милая в уста целовала,
Его третья милая с двора провожала.
(Сахар. Пес. раз., стр. 213, № 50),

а тут еще

Злодеюшка чужа жена
Прельстила добра молодца.
(Сахар., стр. 215, Пес. раз. № 4),

не раз ему

И спинушку набухали
Большими четырьмя обухами,
А как пятый то кистень

По бокам его свистел —

матушка примется его женить, думает: остепенится чадо милое, но не тут-то было! По мысли ли ему девица: он разлю-/191/бит ее, поневоле его ретивое сердце рвется к прежней полюбовнице, к прежним приятелям; посадят его и в темную темницу за шалости и выручат его родимые, а он себе все тот же.

Вот две черты развития удальства русского человека: пить и волочиться. Еще удалец пока принадлежит к сфере семейной жизни, но уже он там лицо ненужное, ему хочется на простор. И вот удалой молодец становится «бродягою», здесь он вырывается из общественных и семейных связей, но еще не принадлежит к особенному кругу, который бы жил единственно удальством. До сих пор мне не случалось ни читать, ни слышать великорусской песни, где бы описывалось прощание удальца с родными перед начатием буйного поприща. Разлука с ними была так мгновенна, что поэзия народная не удержала нам этих черт. Резкое отличие от малорусских песен. Там человек требовал семейства и тихой жизни, стремился к этому и чувством и волею и был уносим в противную сферу необходимостью; удалого молодца семейственность связывает, и он хочет вырваться из ее уз. Правда, и великорусского удальца «чужа дальняя сторонушка без ветра палит, без солнца сушит», но посмотрите: что занесло его туда?

Что не сам то я на тебя зашел,
Что не добрый-де конь меня завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прыткость-бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая!
(Сахар., стр. 203, Пес. сем. № 6).

И что делает в этом бродяжничестве удалой молодец? «Мотается туда-сюда» — говорит песня. Шатается его «головушка бесприютная, как былинушка во чистом поле» (Сахар., стр. 205, Пес. сем. № 15). Привалит он с «понизовыми бурлаками на работы государевы», не спасет его иногда «матернее благословение» и от «службы царские», пустится он и в торги, крикнет на «паромщиков лихих: перевезите, меня, ребятушки, на тот бок Волги-реки», и никаких чудес с ним не случается? Народная фантазия создает иногда такие дивные приключения с своим идеалом — стоит прочесть песню в сборнике Сахарова на странице 224, № 29 разб [ойничьих] песен. Какие быстрые переходы от добра к худу, от роскоши к бедности, от раздолья степного к тесной тюрьме. Как, например, интересно это изображение удалого молодца: у него

Много было на службе послужено,
С кнутом за свиньями похожено,
Много цветного платья поношено,
Попод оконью онучь было попрошено
И сахарного куса поедено,
У ребят корок отымано,
На добрых конях поезжено, /192/

На чужие дровни приседяючи,
К чужим дворам приставляючи,
На поварнях было посижено,
Кусков и оглодков попрошено,
Потихоньку без спросу потаскано,
Голиками глаза выбиты,
Ожегом плечи поранены.

Правда, горько удальцу бывает вспомнить, что уж ему «родимых никогда не видать и на родной стороне не бывать; седеет его буйная головушка не от лет, не от времени, все от безвременья», но ни безнадежности, ни раскаяния — упорство железное; страдальческое сердце не прибегает даже к вере: горемыка ищет утешения в синем кувшине: «Ах спасибо, — говорит он, —

...синему кувшину,
Размыкал, разогнал злу тоску-кручину».
(Сахар., стр. 208, Пес. сем., № 28).

Русский человек горя не боится, он ему прямо в глаза смотрит, не бежит он от него, разговаривает с ним. Ему «в горе жить — некручинным быть; денег нет — перед деньгами. Ах ты, горе! — восклицает он, — какое ж ты горе чудное:

Лыком горе подпоясалось,
Мочалами ноги попутаны».

Он от горя — «во царев кабак», а горе вперед забежало да пиво тащит:

Как я наг-то стал, насмеялся он!
(Сахар., стр. 224, Пес. сем., № 28).

Обыкновенный конец такого разбитного молодца бывает «среди поля чистого, раздолья широкого»:

Постелюшка под молодцем камыш-трава,
Изголовице под добрым част ракитов куст,
Одеялечко под молодцем ночка темная,
Ночка темная, осенняя, холодная.

Но часто удалые собираются ватагою, перестает каждый из них быть бесприютной головушкой. И так как их нельзя приютить ни к какому отделу общества, ни к какому сословию народа, то они образовали свое общество и положили основание сословию, которое в своих песнях не любит названия, придаваемого ему обыкновенно «разбойник».

Причины, которые произвели этот тип русской удали, открываются из исторического развития нашего старого общества. Бросим взгляд на состояние Северной Руси до ее порабощения, что мы встретим? Беспрерывные драки князей, а вместе с ними и подданных: ростовцы выходили на суздальцев, рязанцы на муромцев и так далее. Всякое местечко хотело быть само по себе, вполне выходила русская пословица: «Что город, то норов». Между тем на севере образовалось общество, различное от прочей Руси и по устройству, и по **/193/** внешним отношениям, и по характеру. Новгородская вольница была проникнута духом удальства. Развитию такого духа способствовало, во-первых, республиканское правление и разделение народа на две противные партии, а во-вторых, склонность к промышленности и колонизации. Новгородцы предпринимали частые путешествия, а так как кругом все враждовало им, торговые обороты производились под защитою оружия. Колонизация увлекала новгородцев в чужую сторону, они боролись с северными и восточными племенами, следовательно, дух удальства при гражданственности не только не угасал, но поддерживался. Они заводили поселения, и поселенцы удерживали характер своей метрополии, этот характер легко сообщался от них и прочим русским. Мы видим из сказок и песен, что по русскому понятию идеалом молодечества был новгородец. Такое понятие поддерживали и события. Вспомним о

новгородских ушкуйниках [170] и охотниках. Вспомним о войне с великими князьями московскими: с Димитрием Ивановичем [171] за Черный Бор, с Василием Димитриевичем [172], наконец о войне с Москвою перед самою эпохою падения Великого Новгорода [173]. Но не один новгородский элемент был воспитателем русского удальства, сколько других причин!.. Московская политика, подавлявшая всякое удельное развитие, татарские набеги... А сколько поводов к бродяжничеству, шатанию, переселению с одного места на другое, а наконец, и к составлению разбойнических шаек найдем мы во времена позднейшие, в период царства Московского! Какие утеснения терпел народ русский от воевод и так называемых приказных людей! Как стесняло дух его помещичье право! Прибавим превратные семейные отношения: браки заключались не по любви и отравляли всю жизнь мужа, который терпел-терпел да наконец решался освободиться от немилой и убегал из семейства. Как бы то ни было, русский человек был недоволен своим повседневным бытом, стремился вырваться на простор, искал в настоящем чего-то другого. И вот он, освободившись из прежней душной сферы, очутился в новосозданном обществе, которое стало совершенно враждебно всем гражданским связям.

Песен и преданий о разбойниках много. Шайка разбойников изображается, как род устроенного общества, у них есть начальники: атаман, есаул; удалые ребята, понизовые бурлаки называют себя «работниками» своего начальника (Сахар., стр. 227, Пес. удал. № 10). Обыкновенно театр их молодечества на Волге:

Ах состроим мы, ребятушки, гребной стружок
И поделаем заключинки кленовые,
И повесим мы веселочки ветловые,
Что мы грянем, ребятушки, вниз по Волге. **/194/**

Любо жить молодцам на Волге:
И мы пьем-едим на Волге все готовое,
Цветно платье носим припасенное!
(Сахар., стр. 225, Пес. уд., № 4).

Но и тихий Дон лелеял таких же удальцов:

На тихом Дону во Черкасском городу
Породился удалой добрый молодец
По имени Степан Разин Тимофеевич.
(Сахар., стр. 228, Пес. уд., № 14).

Лодки разбойников были

...изукрашены,
Нос, корма раззолочены,
Что расшиты легки лодочки
На двенадцатери веселочки.
(Сахар., стр. 224, Пес, уд., № 1).

Оружие их было — багор: «На корме стоит эсаул с багром», ружья: «Стоит атаман с ружьем» и кистень. Разбивали они будары и лодки, плывшие по рекам с товарами:

Мы веслом махнем, корабль возьмем;

приставали к берегу и нападали на караваны:

Кистенем махнем, караван собьем.
(Сахар., стр. 227, Пес. уд., № 10).

Но самое удалое дело у разбойников было похищение девиц:

Мы рукой махнем, девицу возьмем!

Вот как описывается в песне похищение дочери у стольничья приказчика:

Что у стольничья приказчика дочь хороша,
Что просилась дочь у батюшки погуляти,
На низовых, на бурлаков поглядети.
Понизовые бурлаки злы, лукавы:
Напоили красну девицу допьяна.
Уж как та ли красна девица уснула
У поволжского атамана на коленях.
Да что возговорит поволжский атаман:
«И мы грянемте, ребятушки, вниз по Волге,
Чтобы не было от стольника погони!»
Ото сна ли красна девица пробудилась
И за очи с отцом, с матерью простилась.
(Сахар., стр. 229, Пес. уд., № 15).

Женщина по понятию великорусскому не имеет почти воли, существо слабое, она легко покоряется обстоятельствам и судьбе. Похищенная обыкновенно привыкает к новому образу жизни и, сидя «по средине лодки на золотой казне», странствует с своим «полюбовником», пока ему «быть застрелену или повешену», тогда девице, как случится: или «в темнице быть, или своя воля — золота казна!»

В старину восточная Россия была покрыта шайками разбойников, правительство приказывало воеводам их ловить: **/195/**

Еще ли лих на нас супостат злодей,
Супостат злодей, воевода лихой,
Высылает из Казани часты высылки,
Высьиает все высылки стрелецкие,
Они ловят нас, хватают добрых молодцев!
(Сахар., стр. 225, Пес. уд., № 4).

Описания удалого в темнице — самые поэтические картины из разбойничьих песен и свидетельствуют о той удивительной крепости духа, которая не смущается не только перед пытками, но даже перед голосом совести. Заключенный просит родителей выручить его. Родители от него отказываются: «Не было, — говорят, — у нас в роду разбойников». Жена напоминает ему, как он съезжал «со двора, со полуночи», привозил платье кровавое и прибавляет: «Не считай меня женой своей» (Сахар., стр. 231, Пес. уд., № 22). Молодец не раскаивается, он тоскует только о том, что ему более

Под широкою дороженькою не стояти,
Купеческих людей не разбивати.
(Сахар., стр. 230. Пес. уд., № 19).

Приведут молодца под допрос, он не станет увертываться: скажет всю «правду-истину»... Умел «воровать», сумеет и «ответ держать» и пойдет равнодушно «на два

столба с перекладиною», над которыми не забудет подтрунить, назвавши их «высокими хоромами», что царь ему пожаловал (Сахар., стр. 227, Пес. уд., № 9). Еще удивительнее покажется та твердость, с которою разбойник, умирая с горя по перейманным товарищам, просит в «головушках его» поставить животворный крест:

Пойдет ли, поедет кто — остановится,
Моему кресту животворному он помолится.
(Сахар., стр. 226, Пес. уд., № 7).

Такое равнодушие поразительно до крайности. Злодей умирает без малейшего признака раскаяния, как будто честный человек завещает в головах себе поставить крест спасения. По этой одной черте можно видеть, что за люди гуляли по Волге. Малорусский казак, сражаясь с врагами за родину, чувствует, что кровь неприятелей ложится ему на душу, и спешит вымолить у Бога прощение, чтоб помиловал милосердный его грешную душу («Зап. стар.», ч. II, № 1, стр. 69), а тут злодей, грабивший и убивавший безвинных соотечественников, считает себя как будто правым.

Перешед чудовищную сферу разбойничества, русское удальство является в другой форме, более умирительной: это общество казаков. Без сомнения, оно образовалось сначала из таких шаек, о которых мы говорили, но получило другое значение и другие черты. Русская удаль стоит здесь как бы на средине примирения с жизнью. Удалец, долго шатавшись **/196/** бесприютной головушкой, сознает себя. Бросим взгляд на характер великорусского казака: увидим с одной стороны страсть к добыче (Сахар., стр. 239, Пес. каз., № 8), ненависть к начальническим властям (Сахар., стр. 237, Пес. каз., № 2), грабежи (Сахар., стр, 241, Пес. каз., № 14), правительство их преследует (Сахар., стр. 243, Пес. каз., № 19) — все признаки разбойников, но с другой стороны видны такие черты, которые показывают стремление вступить в общественную связь. Казаки привязаны к земле своей, у них есть своя родина — тихий Дон (Сах., стр. 239, Пес. каз., № 8); они чувствуют потребность власти, сами добровольно призывают ее (Сахар., стр. 241, Пес. каз., № 14). Походы их не ограничиваются разбоями, но часто предпринимаются для дел великих (Сахар., там же). Так удаль казацкая в лице Ермака повергла пред трон Грозного с буйною головою царство сибирское. Разгульная потеха уступает семейственной любви (Сахар., стр. 248, Пес. каз., № 31) и, наконец, развивается идея высокого патриотизма и верности престолу.

В песнях казацких надобно замечать: 1) отношение казацкого круга к правительству и 2) походы их против неприятеля.

Казацкое общество состояло из русских людей, но в нем были люди и других наций: «запорожские хохлачи и татары, и башкиры»; главнейший элемент был, однако, великорусский. Пространство, которое занимала казаччина, было обширно, казаки разделялись по месту жительства. В песнях упоминаются казаки донские, яицкие, гребенские (Сахар., стр. 244), сибирские, деурские (там же, стр. 250, № 37). Такая разнохарактерность и разноместность способствовала развитию буйного духа вольницы, но господство великорусского племени примиряло ее с требованием русской нации, поддерживало в ней связь с остальной Россией и питало в казаках идею покорности единой власти.

Русское правительство, считая казаков своими подданными, всегда старалось удержать их в границах повиновения и высылало к ним воевод и послов. Казаки не любили этих начальников, вмешивавшихся в их дела. Русский боярин, приехавши на Дон производить расправу за «переменушку» (Сахар., стр. 246, Пес. каз., № 26), отбирал у них коней, раздавал по полкам, разжаловал «полковничка», запрещал молодцам по «Волге гулять» (Сахар., стр. 236) и «похваливался казаков всех перевешать» (Сахар., стр. 238, № 6). Иногда за это он расплачивался и жизнью. Доказательством тому те песни, в которых описывается убийство боярина. История донского войска наполнена беспрестанными

описаниями буйств и мятежей. Но в отношении к царю донцы считали **/197/** себя обязанными повиноваться. Донское войско называется в песнях «армеюшка царя белого» (Сахар., стр. 241, Пес. каз., № 15). Вся остальная Россия считалась у них таким же отечеством, как и тихий Дон: «Наша Россиюшка, наша каменная Москва» (Сахар., стр. 246, № 23). Дерзкие против воевод, они смирялись перед царской властью: «Царь волен над нашими буйными головами». Даже в песнях, которые принадлежат эпохам всеобщего возмущения, не видно негодования на царскую власть. Некрасов, несмотря на свое крайнее своеволие, которое простер до того, что увел силы-рати сорок тысяч к турецкому хану в подданство (Сахар., стр. 245), «горючими слезами пишет грамотку ко графу Долгорукому», что они «бросают свое бытье богатство» оттого, что «боярин», а не царь прогневался на них, не захотел, дескать

Старикам усы-бороды брить,
А молодых детей в солдаты брать.

Военные походы казаков предпринимались против турков под Азов, за «Яик-реку» [174] — против киргизов, за «Байкальское море на улусы на мунгальские» [175]. Впоследствии донцы участвовали в тех войнах, которые вели государи, и составляли часть русской армии. Нам остались песни войны с Карлом XII [176], из которых очень замечательна о Краснощекове [177] (Сахар., стр. 241, № 15), песни времен войны Семилетней [178], но особенно осталась в памятниках народной их поэзии война 1812 года. К сожалению, в сборнике Сахарова нет ни одной из этих песен, хотя, сколько мне известно, их чрезвычайно много. Казацкие походы совершались частью на конях, но более всего на стругах по воде; театром плавания были «Дон, Волга, Яик и синее море Хвалынское» [179]. Описания таких походов отличаются подробностями и картинностью:

Как плывут тут выплывают два нарядные стружка,
Хорошо были стружечки изукрашены,
Они копьями, знамены, будто лесом поросли,
На стружках сидят гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, все донские казаки,
Да еще же гребенские, запорожские;
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Еще смурые кафтаны, кумачом подложены,
Астраханские кушаки полушелковые,
Пестрядинные рубашки с золотым галуном,
Что зелен сафьян сапожки — кривые каблуки
И с зачесами чулки да все гарусные;
Они веслами гребут, сами песенки поют.
(Сахар., стр. 237, Пес. каз., № 1).

Гуляя по синю-морю, казаки разбивали корабли, убивали купцов, брали богатые одежды и все это «дуванили», делили; и много добра они получали, говорит песня, так что **/198/** на каждого казака доставалось одежд по сенной копне (Сахар., стр. 242, Пес. каз., № 16). Песни, где рассказываются походы против турков, отличаются особенно печальным тоном потому, что эти походы часто не удавались, а удалые молодцы попадались в «неволю крепкую»:

Ах в той ли темной темнице,
Что сидит тут добрый молодец,
Добрый молодец, донской казак,
В заключении ровно двадцать лет!

Но зато и турки боятся казаков. В той же самой песне царь приказывает отпустить доброго молодца «во его ли землю русскую, ко его ли царю белому», иначе

Славный тихий Дон взволнуется,
Весь казачий круг взбунтуется,
Разобьют силу турецкую
И его царя в полон возьмут!

Бунтовщики против царя и власти называются в песнях «казаками воровскими» — термин, употребительный и в старых деловых бумагах. Впрочем, несмотря на страсть к грабительству и разбоям, казаки буянят чаще всего из мести к боярам и воеводам.

На Дону русская удаль образовала общество, в котором были противоположные черты разбойничества и правильной жизни. В центре Руси та же самая русская удаль проявилась в другом виде: тип ее — солдат — тот же удалец, но только не враждующий ни с семейственностью, ни с обществом! Этот удалец не вырывается произвольно из объятий родных, чтоб идти, сломя голову, невесть куда. Узы семейства для него так дороги, что нужно большого усилия оторваться от них. «Жаль мне, — говорит солдат, — своей стороны:

На сторонушке три зазнобушки.
Ах как первая зазнобушка:
Расставался я с отцом, с матерью,
С отцом, с матерью, с молодой женой,
С сиротами ребятами, моими малыми детками!»
(Сахар., стр. 234, Пес. солд., № 5).

Но удаль, оживляющая дух русского человека, все превозмогает. В прощании солдата с семейством нет ничего раздирающего, как у малорусского рекрута: это дань сердечного чувства, принесенная однажды навсегда. Эта грусть есть грусть человека русского: она не сушит души, она встречается в груди его с тою железною силою воли, для которой нипочем всякое движение сердца. Солдат скоро разгонит тоску свою, полюбит от души свое новое звание. Вот идет

Сильна армия царя белого,
И уж как все веселы идут,
(Сахар., стр. 235, Пес. солд., № 10). **/199/**

а если кому-нибудь исподтишка и станет «грустнехонько», то одна мысль, что он идет «на службу государеву», заставляет его стыдиться своей горести. А имя царя православного чего не может произвесть магическим своим могуществом над русским солдатом, особенно когда он сам — «сам, батюшка православный, родимый кормилец» прослезился, стоя перед строем «своих детушек» и советуется с ними:

Ах вы, гой еси, солдаты и драгуны!
Вы придумайте мне думушку крепкую.

Тогда все нипочем. Пусть собираются хоть «тьмы неверных враг» (Сахар., стр. 235, Пес. солд., № 11), пусть «острят мечи черные и хвалятся не срубить, а отрезать буйны головы солдатские» — не дадут ребятушки «хвалитися врагам лютым». Содвинется вся армия, «забелеют белы груди басурманские, разольется кровь нечестивая» (Сахар., стр. 236, Пес. солд., № 13). А кому придется голову положить, тот рад, что пригодился

братцам: заменил их смерть животом своим и грудью белою (Сахар., стр. 233, Пес. солд., № 4), а которые останутся, те радуются, что «государю прибыль учинили» (Сахар., стр. 233, № 3). А между тем неприятели удивляются:

Лихая-де московская пехота!

Солдат не только сродняется с своим званием и любит его, но чувствует сознание своего значения. Он не то, чтоб слепой только исполнитель приказаний своих командиров, напротив, сердце его бьется за интересы царя и отечества. С учреждения регулярного войска не было ни одной войны, о которой бы солдаты не сочиняли песен. Почти все исторические песни есть солдатские. От солдат переходят в народ понятия о современном ходе событий, без них они были бы недоступны для поселян, которых жизнь совсем не политическая.

Источники

I. Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым, том I, издание третье, in 8 комп., СПб., 1841.

II. Русские простонародные сказки, изд. Сахарова, ч. I, in 12°, СПб., 1841.

III. Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем, in 16°, Москва, 1828.

IV. Украинские народные песни, изд. М. Максимовичем, in 8°, Москва.

V. «Запорожская старина» И. Срезневского, в 2-х частях, 6 тетр[адей], in 12°, Харьков, 1833 — 1838.

VI. Малороссийские и червонорусские думы и песни, in 8°, СПб., 1836.

VII. Piesni Polskie i Ruskie Ludu Galicyjskiego. Zebral i widał. Waclaw z Oleska, in 8°, wo Lwowie 1833.

VIII. Piesni Ludu Ruskiego w Galicyi. Zebral Zegota Pauli, 2 toma, Lwow, 1840.

IX. Ruskoje Wesile, opysanoje czerez J. Lozińskoho, in 12° w Peremyszly, 1835.

X. «Русалка Днiстровая», in 12°, Львов, 1841.

XI. Klechdy, Starożytne Podania i Powiesci Ludu Polskiego i Rusi, zebrał i spisal K. W. Woycicki, in 12°, 2 t., w Warszawie 1837.

XII. Zarysy Domowe, nap K. W. Woycicki, 4 t., in 12°, Warsz., 1842.

Почтенный наш этнограф И. И. Срезневский по возвращении своем из путешествия в славянские земли сообщил мне колядки, собранные в Галиции Г. Берецким. Это рукописное собрание содержит 33 песни и драгоценно в высокой степени для русской этнографии, филологии, истории и в особенности мифологии, так что многое проливает новый свет на верования наших предков.

Кроме всего упомянутого, я имел под рукою рукописное собрание малорусских песен, нигде не напечатанных, числом более 500. Все примеры без отметки, откуда заимствованы, взяты из этого собрания, которое скоро издается.